

ЛЕВ  
ТОЛСТОЙ

---

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 11

ВОЙНА И МИР

ТОМ ТРЕТИЙ

Весь Толстой в один клик

Лев Толстой

**Полное собрание сочинений.  
Том 11. Война и мир. Том третий**

«Библиотечный фонд»

1863-1869, 1873

**Толстой Л. Н.**

Полное собрание сочинений. Том 11. Война и мир. Том третий /  
Л. Н. Толстой — «Библиотечный фонд», 1863-1869, 1873 — (Весь  
Толстой в один клик)

© Толстой Л. Н., 1863-1869, 1873  
© Библиотечный фонд, 1863-1869,  
1873

## Содержание

Лев Николаевич	5
Предисловие к электронному изданию	6
ВОЙНА И МИР (1863—1869, 1873) ТОМ ТРЕТИЙ	11
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.	14
I.	14
II.	16
III.	19
IV.	21
V.	23
VI.	25
VII.	29
VIII.	31
IX.	34
X.	38
XI.	40
XII.	43
XIII.	45
XIV.	47
XV.	48
XVI.	50
XVII.	52
XVIII.	53
XIX.	56
XX.	59
XXI.	62
XXII.	65
XXIII.	68
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.	70
I.	70
II.	73
III.	75
Конец ознакомительного фрагмента.	77

**Лев Николаевич  
Толстой  
Полное собрание сочинений.  
Том 11. Война и мир. Том третий**

Государственное издательство  
«Художественная литература»  
Москва – 1940

Электронное издание осуществлено в рамках краудсорсингового проекта [«Весь Толстой в один клик»](#)

Организаторы: [Государственный музей Л.Н. Толстого](#)  
[Музей-усадьба «Ясная Поляна»](#)  
[Компания АБВУ](#)

Подготовлено на основе электронной копии 11-го тома Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, предоставленной [Российской государственной библиотекой](#)

Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого доступно на портале [www.tolstoy.ru](http://www.tolstoy.ru)

*Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам [info@tolstoy.ru](mailto:info@tolstoy.ru)*

## Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л.Н.Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л.Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте [readingtolstoy.ru](http://readingtolstoy.ru) к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные произведения* публикуются в электронном виде на сайте [tolstoy.ru](http://tolstoy.ru).

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

*Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»  
Фекла Толстая*

# L É O N T

## O E U V R E S

SOUS LA RÉDA

de V. TCH

AVEC LA COLLABORATION

N. GOUDZY, N. GOU

N. MESTCHERIAKO

N. RODIONOFF,

SANCTIONNÉ PAR LA COMME

S. LOSOVSKY, J. L

A. FADEEF,



**Л. Н. Т**

**ПОЛНОЕ СОБРА**

**ПОД ОБ**

**В. Г.**

**ПРИ УЧАСТИИ РЕДАКТО**

**Н. К. ГУДЗИЯ, Н.**

**Н. Л. МЕЩЕГЯ**

**Н. С. РОДИОН**

**ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**В СОСТАВЕ С. А. Л**

**А. Н. ТЮЛСТОВО, А**

*Перепечатка разрешается безвозмездно.*

—

*Reproduction libre pour tous les pays.*

## **ВОЙНА И МИР**

РЕДАКТОРЫ:

Г. А. ВОЛКОВ

М. А. ЦЯВЛОВСКИЙ

## **ВОЙНА И МИР (1863—1869, 1873) ТОМ ТРЕТИЙ**



Л. Н. ТОЛСТОЙ в эпоху „Войны и мира“.  
С рисунка Л. О. Пастернака

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

### I.

С конца 1811-го года началось усиленное вооружение и сосредоточение сил западной Европы, и в 1812 году силы эти – миллионы людей (считая тех, которые перевозили и кормили армию), двинулись с Запада на Восток, к границам России, к которым точно так же с 1811-го года стягивались силы России. Двенадцатого июня силы западной Европы перешли границы России, и началась война, т. е. совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира, и на которые, в этот период времени, люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления.

Что произвело это необычайное событие? Какие были причины его? Историки с наивной уверенностью говорят, что причинами этого события были обида, нанесенная герцогу Ольденбургскому, несоблюдение континентальной системы, властолюбие Наполеона, твердость Александра, ошибки дипломатов и т. п.

Следовательно стоило только Меттерниху, Румянцеву или Талейрану, между выходом и раутом, хорошенько постараться и написать поискуснее бумажку, или Наполеону написать к Александру: *Monsieur, mon frère, je consens à rendre le duché au duc d'Oldenbourg*<sup>1</sup> и войны бы не было.

Понятно, что таким представлялось дело современникам. Понятно, что Наполеону казалось, что причиной войны были интриги Англии (как он и говорил это на острове св. Елены); понятно, что членам английской палаты казалось, что причиной войны было властолюбие Наполеона; что принцу Ольденбургскому казалось, что причиной войны было совершенное против него насилие; что купцам казалось, что причиной войны была континентальная система, разорявшая Европу, что старым солдатам и генералам казалось, что главной причиной была необходимость употребить их в дело; легитимистам того времени то, что необходимо было восстановить *les bons principes*,<sup>2</sup> а дипломатам того времени то, что всё произошло от того, что союз России с Австрией в 1809 году не был достаточно искусно скрыт от Наполеона, и что неловко был написан *memorandum* за № 178. Понятно, что эти и еще бесчисленное, бесконечное количество причин, количество которых зависит от бесчисленного различия точек зрения, представлялось современникам; но для нас – потомков, созерцающих во всем его объеме громадность совершившегося события и вникающих в его простой и страшный смысл, причины эти представляются недостаточными. Для нас непонятно, чтобы миллионы людей-христиан убивали и мучали друг друга, потому что Наполеон был властолюбив, Александр тверд, политика Англии хитра, и герцог Ольденбургский обижен. Нельзя понять, какую связь имеют эти обстоятельства с самым фактом убийства и насилия; почему вследствие того, что герцог обижен, тысячи людей с другого края Европы убивали и разоряли людей Смоленской и Московской губерний, и были убиваемы ими.

Для нас – потомков не-историков, не увлеченных процессом изыскания, и потому с незамутненным здравым смыслом созерцающих событие, причины его представляются в неисчислимом количестве. Чем больше мы углубляемся в изыскание причин, тем больше нам их открывается, и всякая отдельно взятая причина или целый ряд причин представляются нам

---

<sup>1</sup> Государь, брат мой, я соглашаюсь возвратить герцогство Ольденбургскому герцогу.

<sup>2</sup> хорошие принципы,

одинаково справедливыми сами по себе, и одинаково ложными по своей ничтожности в сравнении с громадностью события, и одинаково ложными по недействительности своей (без участия всех других совпавших причин) произвести совершившееся событие. Такой же причиной, как отказ Наполеона отвести свои войска за Вислу и отдать назад герцогство Ольденбургское, представляется нам и желание или нежелание первого французского капрала поступить на вторичную службу: ибо, ежели бы он не захотел итти на службу и не захотел бы другой и третий и тысячный капрал и солдат, на столько менее людей было бы в войске Наполеона, и войны не могло бы быть.

Ежели бы Наполеон не оскорбился требованием отступить за Вислу и не велел наступать войскам, не было бы войны; но ежели бы все сержанты не пожелали поступить на вторичную службу, тоже войны не могло бы быть. Тоже не могло бы быть войны, ежели бы не было интриг Англии и не было бы принца Ольденбургского, и чувства оскорбления в Александре, и не было бы самодержавной власти в России, и не было бы французской революции и последовавших диктаторства и империи, и всего того, что произвело французскую революцию, и так далее. Без одной из этих причин ничего не могло бы быть. Стало быть, причины эти все – миллиарды причин – совпали для того, чтобы произвести то, что было. И следовательно ничто не было исключительной причиной события, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться. Должны были миллионы людей, отрехшись от своих человеческих чувств и своего разума, итти на Восток с Запада и убивать себе подобных, точно так же как несколько веков тому назад с Востока на Запад шли толпы людей, убивая себе подобных.

Действия Наполеона и Александра, от слова которых зависело, казалось, чтобы событие совершилось или не совершилось – были так же мало произвольны, как и действие каждого солдата, шедшего в поход по жребию или по набору. Это не могло быть иначе потому, что для того, чтобы воля Наполеона и Александра (тех людей, от которых, казалось, зависело событие) была исполнена, необходимо было совпадение бесчисленных обстоятельств, без одного из которых событие не могло бы совершиться. Необходимо было, чтобы миллионы людей, в руках которых была действительная сила, солдаты, которые стреляли, везли провиант и пушки, надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей, и были приведены к этому бесчисленным количеством сложных, разнообразных причин.

Фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений (то есть тех, разумность которых мы не понимаем). Чем более мы стараемся разумно объяснить эти явления в истории, тем они становятся для нас неразумнее и непонятнее.

Каждый человек живет для себя, пользуется свободой для достижения своих личных целей и чувствует всем существом своим, что он может сейчас сделать или не сделать такое-то действие; но как скоро он сделает его, так действие это, совершенное в известный момент времени, становится невозвратимым и делается достоянием истории, в которой оно имеет не свободное, а predetermined значение.

Есть две стороны жизни в каждом человеке: жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы, и жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы.

Человек сознательно живет для себя, но служит бессознательным орудием для достижения исторических, общечеловеческих целей. Совершенный поступок невозвратим, и действие его, совпадая во времени с миллионами действий других людей, получает историческое значение. Чем выше стоит человек на общественной лестнице, чем с большими людьми он связан, тем больше власти он имеет на других людей, тем очевиднее predeterminedность и неизбежность каждого его поступка.

«Сердце царево в руке Божьей».

Царь – есть раб истории.

История, т. е. бессознательная, общая, роевая жизнь человечества, всякой минутой жизни царей пользуется для себя, как орудием для своих целей.

—

Наполеон, несмотря на то, что ему более чем когда-нибудь, теперь, в 1812 году, казалось, что от него зависело *verser* или не *verser le sang de ses peuples*<sup>3</sup> (как в последнем письме писал ему Александр) никогда более как теперь не подлежал тем неизбежным законам, которые заставляли его (действуя в отношении себя, как ему казалось, по произволу) делать для общего дела, для истории то, что должно было совершиться.

Люди Запада двигались на Восток для того, чтобы убивать друг друга. И по закону совпадения причин подделались сами собою и совпали с этим событием тысячи мелких причин для этого движения и для войны: укоры за несоблюдение континентальной системы, и герцог Ольденбургский, и движение войск в Пруссию, предпринятое (как казалось Наполеону) для того только, чтобы достигнуть вооруженного мира, и любовь и привычка французского императора к войне, совпавшая с расположением его народа, увлечение грандиозностию приготовлений, и расходы по приготовлению, и потребность приобретения таких выгод, которые бы окупили эти расходы, и одурманившие почести в Дрездене, и дипломатические переговоры, которые, по взгляду современников, были ведены с искренним желанием достижения мира и которые только уязвляли самолюбие той и другой стороны, и миллионы миллионов других причин, подделавшихся под имеющее совершиться событие, совпавших с ним.

Когда созрело яблоко и падает, — отчего оно падает? Оттого ли, что тяготеет к земле оттого ли, что засыхает стержень, оттого ли, что сушится солнцем, что тяжелеет, что ветер стрясет его, оттого ли, что стоящему внизу мальчику хочется съесть его?

Ничто не причина. Всё это только совпадение тех условий, при которых совершается всякое жизненное, органическое, стихийное событие. И тот ботаник, который найдет, что яблоко падает оттого, что клетчатка разлагается и тому подобное, будет так же прав, как и тот ребенок, стоящий внизу, который скажет, что яблоко упало от того, что ему хотелось съесть его и что он молился об этом. Так же прав и неправ будет тот, кто скажет, что Наполеон пошел в Москву потому, что он захотел этого, и оттого погиб, что Александр захотел его погибели: как прав и неправ будет тот, кто скажет, что завалившаяся в миллион пудов подкопанная гора упала оттого, что последний работник ударил под нее последний раз киркою. В исторических событиях так называемые великие люди суть ярлыки, дающие наименование событию, которые, так же как ярлыки, менее всего имеют связи с самым событием.

Каждое действие их, кажущееся им произвольным для самих себя, в историческом смысле произвольно, а находится в связи со всем ходом истории и определено предвечно.

## II.

29-го мая Наполеон выехал из Дрездена, где он пробыл три недели, окруженный двором, составленным из принцев, герцогов, королей и даже одного императора. Наполеон перед отъездом обласкал принцев, королей и императора, которые того заслуживали, побранил королей и принцев, которыми он был недоволен, одарил своими собственными, т. е. взятыми у других королей жемчугами и бриллиантами императрицу Австрийскую и, нежно обняв императрицу Марию-Луизу, как говорит его историк, оставил ее огорченной разлукой, которую она — эта Мария-Луиза, считавшаяся его супругой, несмотря на то, что в Париже оставалась другая супруга — казалось не в силах была перенести. Несмотря на то, что дипломаты еще твердо верили в возможность мира и усердно работали с этою целью, несмотря на то, что импера-

---

<sup>3</sup> проливать или не проливать кровь своих народов

тор Наполеон сам писал письмо императору Александру, называя его *Monsieur mon frère*<sup>4</sup> и искренно уверяя, что он не желает войны, и что всегда будет любить и уважать его – он ехал к армии и отдавал на каждой станции новые приказания, имевшие целью торопить движение армии от запада к востоку. Он ехал в дорожной карете, запряженной шестериком, окруженный пажами, адъютантами и конвоем, по тракту на Позен, Торн, Данциг и Кенигсберг. В каждом из этих городов тысячи людей с трепетом и восторгом встречали его.

Армия подвигалась с запада на восток, и переменные шестерни несли его туда же. 10-го июня он догнал армию и ночевал в Вильковисском лесу, в приготовленной для него квартире, в имении польского графа.

На другой день Наполеон, обогнав армию, в коляске подъехал к Неману, и с тем чтоб осмотреть местность переправы, переоделся в польский мундир и выехал на берег.

Увидав на той стороне казаков (*les Cosaques*) и расстилавшиеся степи (*les Steppes*), в середине которых была *Moscou la ville sainte*,<sup>5</sup> столица того, подобного Скифскому, государства, куда ходил Александр Македонский, – Наполеон, неожиданно для всех и противно как стратегическим, так и дипломатическим соображениям, приказал наступление и на другой день войска его стали переходить Неман.

12-го числа рано утром он вышел из палатки, раскинутой в этот день на крутом, левом берегу Немана, и смотрел в зрительную трубу на выплывающие из Вильковисского леса потоки своих войск, разливающихся по трем мостам, наведенным на Немане. Войска знали о присутствии императора, искали его глазами, и когда находили на горе перед палаткой отделившуюся от свиты фигуру в сюртуке и шляпе, они кидали вверх шапки и кричали: «*Vive l'Empereur*»!<sup>6</sup> и одни за другими, не истощаясь, вытекали, всё вытекали из огромного скрывавшего их доселе леса и, расстроясь, по трем мостам переходили на ту сторону.

– *On fera du chemin cette fois-ci. Oh! quand il s'en mêle lui-même ça chauffe... Nom de Dieu... Le voilà!... Vive l'Empereur! Les voilà donc les Steppes de l'Asie! Vilain pays tout de même. A revoir, Beauché; je te réserve le plus beau palais de Moscou. A revoir! Bonne chance... L'as tu vu, l'Empereur? Vive l'Empereur!... preur! Si on me fait gouverneur aux Indes, Gérard, je te fais ministre du Cachemire, c'est arrêté. Vive l'Empereur! Vive! vive! vive! Les gredins de Cosaques, comme ils filent. Vive l'Empereur! Le voilà! Le vois tu? Je l'ai vu deux fois comme je te vois. Le petit caporal... Je l'ai vu donner la croix à l'un des vieux... Vive l'Empereur!...*<sup>7</sup> – говорили голоса старых и молодых людей, самых разнообразных характеров и положений в обществе. На всех лицах этих людей было одно общее выражение радости о начале давно ожидаемого похода и восторга и преданности к человеку в сером сюртуке, стоявшему на горе.

13-го июня Наполеону подали небольшую, чистокровную арабскую лошадь, и он сел и поехал галопом к одному из мостов через Неман, непрерывно оглушаемый восторженными криками, которые он очевидно переносил только потому, что нельзя было запретить им криками этими выражать свою любовь к нему; но крики эти, сопутствующие ему везде, тяготили его и отвлекали его от военной заботы, охватившей его с того времени, как он присоединился к войску. Он проехал по одному из качавшихся на лодках мостов на ту сторону, круто повернул влево и галопом поехал по направлению к Ковно, предшествуемый замиравшими от счастья, восторженными гвардейскими конными егерями, которые, расчищая дорогу по войскам. ска-

<sup>4</sup> Государь брат мой

<sup>5</sup> Москва, священный город,

<sup>6</sup> Да здравствует Император!

<sup>7</sup> Император? О! как он сам возьмется, дело закипит. Теперь походим! Ей Богу... Вот он... Ура, император! Так вот они, азиатские степи... Однако скверная страна. До свиданья, Боше. Я тебе оставляю лучший дворец в Москве. Ежели меня сделают губернатором в Индии, я тебя сделаю министром Кашмира... Ура! Вот он! Видишь его? Я его два раза как тебя видел. Маленький капрал... Я видел, как он навесил крест одному из стариков... Ура, император!...

кали впереди его. Подъехав к широкой реке Вилии, он остановился подле польского уланского полка, стоявшего на берегу.

– Виват! – также восторженно кричали поляки, расстроивая фронт и давя друг друга, для того чтоб увидеть его. Наполеон осмотрел реку, слез с лошади и сел на бревно, лежавшее на берегу. По бессловесному знаку ему подали трубу, он положил ее на спину подбежавшего счастливого пажа, и стал смотреть на ту сторону. Потом он углубился в рассматриванье листа карты, разложенного между бревнами. Не поднимая головы, он сказал что-то, и двое его адъютантов поскакали к польским уланам.

– Что? Что он сказал? – слышалось в рядах польских улан, когда один адъютант подскакал к ним.

Было приказано, отыскав брод, перейти на ту сторону. Польский уланский полковник, красивый, старый человек, раскрасневшись и путаясь в словах от волнения, спросил у адъютанта, позволено ли ему будет переплыть с своими уланами реку, не отыскивая брода. Он с очевидным страхом за отказ, как мальчик, который просит позволения сесть на лошадь, просил, чтоб ему позволили переплыть реку в глазах императора. Адъютант сказал, что вероятно император не будет недоволен этим излишним усердием.

Как только адъютант сказал это, старый усатый офицер с счастливым лицом и блестящими глазами, подняв кверху саблю, прокричал: «виват»! и, скомандовав уланам идти за собой, дал шпоры лошади и подскакал к реке. Он злобно толкнул замявшуюся под собой лошадь и бухнулся в воду, направляясь в глубь к быстрине течения. Сотни уланов поскакали за ним. Было холодно и жутко на середине и на быстрине течения. Уланы цеплялись друг за друга, сваливаясь с лошадей. Лошади некоторые тонули, тонули и люди, остальные старались плыть вперед на ту сторону, и несмотря на то, что за полверсты была переправа, гордились тем, что они плывут и тонут в этой реке под взглядами человека, сидевшего на бревне и даже не смотревшего на то, что они делали. Когда вернувшийся адъютант, выбрав удобную минуту, позволил себе обратить внимание императора на преданность поляков к его особе, маленький человек в сером сюртуке встал и, подозревая к себе Бертье, стал ходить с ним взад и вперед по берегу, отдавая ему приказания и изредка недовольно взглядывая на тонувших улан, развлекавших его внимание.

Для него было не ново убеждение в том, что присутствие его на всех концах мира, от Африки до степей Московии, одинаково поражает и повергает людей в безумие самозабвения. Он велел подать себе лошадь и поехал в свою стоянку.

Человек 40 улан потонуло в реке, несмотря на высланные на помощь лодки. Большинство прибило к этому берегу. Полковник и несколько человек переплыли реку и с трудом вылезли на тот берег. Но как только они вылезли в обмокнувшем со стекающими ручьями платье, они закричали: «Виват»! восторженно глядя на то место, где стоял Наполеон, но где его уже не было, и в ту минуту считали себя счастливыми.

Вечеру Наполеон между двумя распоряжениями – одно о том, чтобы как можно скорее доставить заготовленные фальшивые русские ассигнации для ввоза в Россию и другое о том, чтобы расстрелять саксонца, в перехваченном письме которого найдены сведения о распоряжениях по французской армии – сделал третье распоряжение о причислении бросившегося без нужды в реку польского полковника к когорте чести (*légion d'honneur*), которой Наполеон был сам главою.

*Quos vult perdere – dementat.*<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Кого хочет погубить – лишит разума.

### III.

Русский император между тем более месяца уже жил в Вильне, делая смотры и маневры. Ничего не было готово для войны, которой все ожидали, и для приготовления к которой император приехал из Петербурга. Общего плана действий не было. Колебания о том, какой план из всех тех, которые предлагались, должен быть принят, еще более усилились после месячного пребывания императора в главной квартире. В трех армиях был в каждой отдельный главнокомандующий, но общего начальника над всеми армиями не было, и император не принимал на себя этого звания.

Чем дольше жил император в Вильне, тем менее готовились к войне, уставши ожидать ее. Все стремления людей, окружавших государя, казалось, были направлены только на то, чтобы заставлять государя, приятно проводя время, забыть о предстоящей войне.

После многих балов и праздников у польских магнатов, у придворных и у самого государя, в июне месяце одному из польских генерал-адъютантов государя пришла мысль дать обед и бал государю от лица его генерал-адъютантов. Мысль эта радостно была принята всеми. Государь изъявил согласие. Генерал-адъютанты собрали по подписке деньги. Особа, которая наиболее могла быть приятна государю – была приглашена быть хозяйкой бала. Граф Бенигсен, помещик Виленской губернии, предложил свой загородный дом для этого праздника, и 13-го июня был назначен бал, обед, катанье на лодках и фейерверк в Закрете, загородном доме графа Бенигсена.

В тот самый день, в который Наполеоном был отдан приказ о переходе через Неман, и передовые войска его, оттеснив казаков, перешли через русскую границу, Александр проводил вечер на даче Бенигсена – на бале, даваемом генерал-адъютантами.

Был веселый, блестящий праздник; знатоки дела говорили, что редко собиралось в одном месте столько красавиц. Графиня Безухова в числе других русских дам, приехавших за государем из Петербурга в Вильну, была на этом бале, затемняя своею тяжелою, так называемою, русскою красотой утонченных польских дам. Она была замечена, и государь удостоил ее танца.

Борис Друбецкой, *en garçon* (холостяком), как он говорил, оставив свою жену в Москве, был также на этом бале и, хотя не генерал-адъютант, был участником на большую сумму в подписке для бала. Борис теперь был богатый человек, далеко ушедший в почестях, уже не искавший покровительства, но на ровной ноге стоявший с высшими из своих сверстников.

В 12 часов ночи еще танцевали. Элен, не имевшая достойного кавалера, сама предложила мазурку Борису. Они сидели в третьей паре. Борис, хладнокровно поглядывая на блестящие, обнаженные плечи Элен, выступавшие из темного газового с золотом платья, рассказывал про старых знакомых, и вместе с тем, незаметно для самого себя и для других, ни на секунду не переставал наблюдать государя, находившегося в той же зале. Государь не танцевал; он стоял в дверях и останавливал то тех, то других теми ласковыми словами, которые он один только умел говорить.

При начале мазурки, Борис видел, что генерал-адъютант Балашев, одно из ближайших лиц к государю, подошел к нему и не-придворно остановился близко от государя, говорившего с польскою дамой. Поговорив с дамой, государь взглянул вопросительно и видно поняв, что Балашев поступил так только потому, что на это были важные причины, слегка кивнул даме и обратился к Балашеву. Только что Балашев начал говорить, как удивление выразилось на лице государя. Он взял под руку Балашева и пошел с ним через залу, бессознательно для себя расчищая с обеих сторон сажени на три широкую дорогу сторонившихся перед ним. Борис заметил взволнованное лицо Аракчеева, в то время как государь пошел с Балашевым. Аракчеев, исподлобья глядя на государя и посапывая красным носом, выдвинулся из толпы, как

бы ожидая, что государь обратится к нему. (Борис понял, что Аракчеев завидует Балашеву и недоволен тем, что какая-то очевидно важная новость не через него передана государю.)

Но государь с Балашевым прошли, не замечая Аракчеева, через выходную дверь, в освещенный сад. Аракчеев, придерживая шпагу и злобно оглядываясь вокруг себя, прошел шагах в двадцати за ними.

Пока Борис продолжал делать фигуры мазурки, его не переставала мучить мысль о том, какую новость привез Балашев и каким бы образом узнать ее прежде других.

В фигуре, где ему надо было выбирать дам, шепнув Элен, что он хочет взять графиню Потоцкую, которая, кажется, вышла на балкон, он скользя ногами по паркету, выбежал в выходную дверь в сад, и, заметив входящего с Балашевым на террасу государя, приостановился. Государь с Балашевым направлялись к двери. Борис, заторопившись, как будто не успев отодвинуться, почтительно прижался к притолке и нагнул голову.

Государь с волнением лично-оскорбленного человека договаривал следующие слова:

– Без объявления войны вступить в Россию! Я помирюсь только тогда, когда ни одного вооруженного неприятеля не останется на моей земле, – сказал он. Как показалось Борису, государю приятно было высказать эти слова: он был доволен формой выражения своей мысли, но был недоволен тем, что Борис услышал их.

– Чтобы никто не знал! – прибавил государь, нахмурившись. Борис понял, что это относилось к нему, и, закрыв глаза, слегка наклонил голову. Государь опять вошел в залу и еще около получаса пробыл на бале.

Борис первый узнал известие о переходе французскими войсками Немана, и, благодаря этому, имел случай показать некоторым важным лицам, что многое скрытое от других бывает ему известно, и через то имел случай подняться выше во мнении этих особ.

–

Неожиданное известие о переходе французами Немана было особенно неожиданно после месяца несбывшегося ожидания, и на бале! Государь, в первую минуту получения известия, под влиянием возмущения и оскорбления, нашел то, сделавшееся потом знаменитым, изречение, которое самому ему понравилось и выражало вполне его чувства. Возвратившись домой с бала, государь в два часа ночи послал за секретарем Шишковым и велел написать приказ войскам и рескрипт к фельдмаршалу князю Салтыкову, в котором он непременно требовал, чтобы были помещены слова о том, что он не помирится до тех пор, пока хотя один вооруженный француз останется на русской земле.

На другой день было написано следующее письмо к Наполеону.

«Monsieur mon frère. J'ai appris hier que malgré la loyauté avec laquelle j'ai maintenu mes engagements envers Votre Majesté, ses troupes ont franchis les frontières de la Russie, et je reçois à l'instant de Pétersbourg une note par laquelle le comte Lauriston, pour cause de cette agression, annonce que Votre Majesté s'est considérée comme en état de guerre avec moi dès le moment où le prince Kourakine a fait la demande de ses passeports. Les motifs sur lesquels le duc de Bassano fondait son refus de les lui délivrer, n'auraient jamais pu me faire supposer que cette démarche servirait jamais de prétexte à l'agression. En effet cet ambassadeur n'y a jamais été autorisé comme il l'a déclaré lui-même, et aussitôt que j'en fus informé, je lui ai fait connaître combien je le désapprouvais en lui donnant l'ordre de rester à son poste. Si Votre Majesté n'est pas intentionnée de verser le sang de nos peuples pour un malentendu de ce genre et qu'elle consente à retirer ses troupes du territoire russe, je regarderai ce qui s'est passé comme non avenu, et un accommodement entre nous sera possible. Dans le cas contraire, Votre Majesté, je me verrai forcé de repousser une attaque que rien n'a provoquée de ma part. Il dépend encore de Votre Majesté d'éviter à l'humanité les calamités d'une nouvelle guerre.

Je suis, etc.

(signé) Alexandre».<sup>9</sup>

#### IV.

13-го июня в 2 часа ночи, государь, призвав к себе Балашева и прочтя ему свое письмо к Наполеону, приказал ему отвезти это письмо и лично передать французскому императору. Отправляя Балашева, государь вновь повторил ему слова о том, что он не помирится до тех пор, пока останется хотя один вооруженный неприятель на русской земле, и приказал непременно передать эти слова Наполеону. Государь не написал этих слов в письме к Наполеону, потому что он чувствовал с своим тактом, что слова эти неудобны для передачи в ту минуту, как делается последняя попытка к примирению; но он непременно приказал Балашеву передать их лично Наполеону.

Выехав в ночь с 13-го на 14-е, Балашев, сопровождаемый трубачом и двумя казаками, к рассвету приехал в деревню Рыконты на французские аванпосты по сю сторону Немана. Он был остановлен французскими кавалерийскими часовыми.

Французский гусарский унтер-офицер, в малиновом мундире и мохнатой шапке, крикнул на подъезжавшего Балашева, приказывая ему остановиться. Балашев не тотчас остановился, а продолжал шагом подвигаться по дороге.

Унтер-офицер, нахмурившись и проворчав какое-то ругательство, надвинулся грудью лошади на Балашева, взялся за саблю и грубо крикнул на русского генерала, спрашивая его: глух ли он, что не слышит того, что ему говорят. Балашев назвал себя. Унтер-офицер послал солдата к офицеру.

Не обращая на Балашева внимания, унтер-офицер стал говорить с товарищами о своем полковом деле и не глядел на русского генерала.

Необычайно странно было Балашеву после близости к высшей власти и могуществу, после разговора три часа тому назад с государем и вообще привыкшему по своей службе к почестям, видеть тут, на русской земле, это враждебное, а главное непочтительное отношение к себе грубой силы.

Солнце только начинало подниматься из-за туч; в воздухе было свежо и росисто. По дороге из деревни выгоняли стадо. В полях один за другим, как пузырьки в воде, вспрыскивали с чувывканьем жаворонки.

Балашев оглядывался вокруг себя, ожидая приезда офицера из деревни. Русские казаки и трубач и французские гусары молча изредка глядели друг на друга.

Французский гусарский полковник, видимо только что с постели, выехал из деревни на красивой, сытой, серой лошади, сопровождаемый двумя гусарами. На офицере, на солдатах и на их лошадях был вид довольства и щегольства.

Это было то первое время кампании, когда войска еще находились в исправности, почти равной смотровой, мирной деятельности, только с оттенком нарядной воинственности в

---

<sup>9</sup> Государь брат мой! Вчера дошло до меня, что, несмотря на прямодушие, с которым соблюдал я мои обязательства в отношении к вашему императорскому величеству, войска ваши перешли русские границы, и только лишь теперь получил из Петербурга ноту, которою граф Лористон извещает меня, по поводу сего вторжения, что ваше величество считаете себя в неприязненных отношениях со мною, с того времени как князь Куракин потребовал свои паспорта. Причины, на которых герцог Бассано основывал свой отказ выдать сии паспорта, никогда не могли бы заставить меня предполагать, чтобы поступок моего посла послужил поводом к нападению. И в действительности, он не имел на то от меня повеления, как было объявлено им самим; и как только я узнал о сем, то немедленно выразил мое неудовольствие князю Куракину, повелев ему исполнять по-прежнему порученные ему обязанности. Ежели ваше величество не расположены проливать кровь наших подданных из-за подобного недоразумения, и ежели вы согласны вывести свои войска из русских владений, то я оставлю без внимания всё происшедшее, и соглашение между нами будет возможно. В противном случае, я буду принужден отражать нападение, которое ничем не было возбуждено с моей стороны. Ваше величество еще имеете возможность избавить человечество от бедствий новой войны. Александр.

одежде и с нравственным оттенком того веселья и предприимчивости, которые всегда сопутствуют началам кампаний.

Французский полковник с трудом удерживал зевоту, но был учтив и видимо понимал всё значение Балашева. Он провел его мимо своих солдат за цепь и сообщил, что желание его быть представленным императору будет вероятно тотчас же исполнено, так как императорская квартира, сколько он знает, находится недалеко.

Они проехали деревню Рыконты мимо французских гусарских коновязей, часовых и солдат, отдававших честь своему полковнику и с любопытством осматривавших русский мундир, и выехали на другую сторону села. По словам полковника, в двух километрах был начальник дивизии, который примет Балашева и проводит его по назначению.

Солнце уже поднялось и весело блестело на яркой зелени.

Только что они выехали за корчму на гору, как навстречу им из под горы показалась кучка всадников, впереди которой на вороной лошади с блестящею на солнце сбруей ехал высокий ростом человек в шляпе с перьями, с черными, завитыми по плечи, волосами, в красной мантии и с длинными ногами, выпяченными вперед, как ездят французы. Человек этот поехал галопом навстречу Балашеву, блестя и развеваясь на ярком июньском солнце своими перьями, камнями и золотыми галунами.

Балашев уже был на расстоянии двух лошадей от скачущего ему навстречу с торжественно-театральным лицом всадника в браслетах, перьях, ожерельях и золоте, когда Юльнер, французский полковник, почтительно прошептал: «*Le roi de Naples*».<sup>10</sup> Действительно это был Мюрат, называемый теперь Неаполитанским королем. Хотя и было совершенно непонятно, почему он был Неаполитанский король, но его называли так, и он сам был убежден в этом, и потому имел более торжественный и важный вид, чем прежде. Он так был уверен в том, что он действительно Неаполитанский король, что когда, накануне отъезда из Неаполя, во время его прогулки с женою по улицам, несколько итальянцев прокричали ему: «*Viva il re!*»<sup>11</sup> он с грустной улыбкой повернулся к супруге и сказал: «*Les malheureux, ils ne savent pas que je les quitte demain!*»<sup>12</sup>

Но несмотря на то, что он твердо верил в то, что он был Неаполитанский король, и что он сожалел о горести своих покидаемых им подданных, в последнее время, после того как ему велено было опять поступить на службу и особенно после свидания с Наполеоном в Данциге, когда августейший шурин сказал ему: «*je vous ai fait Roi pour régner à ma manière, mais pas à la vôtre*»<sup>13</sup> – он весело принялся за знакомое ему дело и, как разъевшийся, но не зажиревший конь, почуяв себя в упряжке, заиграл в оглоблях и разрядившись как можно пестрее и дороже, веселый и довольный, скакал, сам не зная куда и зачем, по дорогам Польши.

Увидав русского генерала, он по-королевски, торжественно, откинул назад голову с завитыми по плечи волосами и вопросительно поглядел на французского полковника. Полковник почтительно передал его величеству значение Балашева, фамилию которого он не мог выговорить.

– *De Val-macheve!* – сказал король (своею решительностью превозмогая трудность, представляющуюся полковнику) *charmé de faire votre connaissance, général*,<sup>14</sup> – прибавил он с королевски-милостивым жестом. Как только король начал говорить громко и быстро, всё королевское достоинство мгновенно оставило его, и он, сам не замечая, перешел в свойственный ему тон добродушной фамильярности. Он положил свою руку на холку лошади Балашева.

---

<sup>10</sup> Король неаполитанский.

<sup>11</sup> Да здравствует король!

<sup>12</sup> Несчастные, они не знают, что я их завтра покидаю!

<sup>13</sup> я вас сделал королем для того, чтобы царствовать не по-своему, а по-моему

<sup>14</sup> [Бальмашев] очень приятно познакомиться с вами, генерал,

– Eh bien, général, tout est à la guerre, à ce qu'il paraît,<sup>15</sup> – сказал он, как будто сожалея об обстоятельстве, о котором он не мог судить.

– Sire, – отвечал Балашев, – l'Empereur mon maître ne désire point la guerre, et comme Votre Majesté le voit,<sup>16</sup> – говорил Балашев, во всех падежах употребляя *Votre Majesté*,<sup>17</sup> с неизбежной аффектацией учащения титула, обращаясь к лицу, для которого титул этот еще новости.

Лицо Мюрата сияло глупым довольством в то время, как он слушал Monsieur de Balachoff. Но *royauté oblige*:<sup>18</sup> он чувствовал необходимость переговорить с посланником Александра о государственных делах, как король и союзник. Он слез с лошади, и взяв под руку Балашева и отойдя на несколько шагов от почтительно-дождавшейся свиты, стал ходить с ним взад и вперед, стараясь говорить значительно. Он упомянул о том, что император Наполеон оскорблен требованиями вывода войск из Пруссии, в особенности тогда, когда это требование сделалось всем известно и когда этим оскорблено достоинство Франции. Балашев сказал, что в требовании этом нет ничего оскорбительного, потому что... Мюрат перебил его:

– Так вы считаете зачинщиком не императора Александра? – сказал он неожиданно с добродушно-глупою улыбкой.

Балашев сказал, почему он действительно полагал, что начинатель войны был Наполеон.

– Eh, mon cher général, – опять перебил его Мюрат, – je désire de tout mon coeur que les Empereurs s'arrangent entre eux, et que la guerre commencée malgré moi se termine le plus tôt possible,<sup>19</sup> – сказал он тоном разговора слуг, которые желают остаться добрыми друзьями, несмотря на ссору между господами. И он перешел к расспросам о великом князе, о его здоровье, и о воспоминаниях веселой забавно проведенного с ним времени в Неаполе. Потом вдруг, как будто вспомнив о своем королевском достоинстве, Мюрат торжественно выпрямился, стал в ту же позу, в которой он стоял на коронации и, помахивая правой рукой, сказал: – Je ne vous retiens plus, général; je souhaite le succès de votre mission,<sup>20</sup> – и развеиваясь красною, шитою мантией и перьями, и блестя драгоценностями, он пошел к свите, почтительно ожидавшей его.

Балашев поехал дальше, по словам Мюрата предполагая весьма скоро быть представленным самому Наполеону. Но вместо скорой встречи с Наполеоном, часовые пехотного корпуса Даву опять так же задержали его у следующего селения как и в передовой цепи, и вызванный адъютант командира корпуса проводил его в деревню к маршалу Даву.

## V.

Даву был Аракчеев императора Наполеона – Аракчеев не трус, но столь же исправный, жестокий и не умеющий выражать свою преданность иначе как жестокостью.

В механизме государственного организма нужны эти люди, как нужны волки в организме природы и они всегда есть, всегда являются и держатся, как ни несообразно кажется их присутствие и близость к главе правительства. Только этою необходимостью можно объяснить то, как мог жестокий, лично выдерживавший усы гренадерам и не могший по слабости нерв переносить опасность, необразованный, непридворный Аракчеев держаться в такой силе при рыцарски-благородном и нежном характере Александра.

Балашев застал маршала Даву в сарае крестьянской избы, сидящего на боченке и занятого письменными работами (он поверял счета). Адъютант стоял подле него. Возможно было

<sup>15</sup> Ну, что ж, генерал, дело, кажется идет к войне,

<sup>16</sup> Государь император русский не желает ее, как ваше величество изволите видеть,

<sup>17</sup> ваше величество,

<sup>18</sup> королевское звание имеет свои обязанности:

<sup>19</sup> Ах, любезный генерал, я желаю от всей души, чтоб императоры покончили дело между собой и чтобы война, начатая против моей воли, окончилась как можно скорее,

<sup>20</sup> Я вас не задерживаю более, генерал; желаю успеха вашему посольству,

найти лучшее помещение, но маршал Даву был один из тех людей, которые нарочно ставят себя в самые мрачные условия жизни, для того чтоб иметь право быть мрачными. Они для того же всегда поспешно и упорно заняты. «Где тут думать о счастливой стороне человеческой жизни, когда, вы видите, я на бочке сижу в грязном сарае и работаю», говорило выражение его лица. Главное удовольствие и потребность этих людей состоит в том, чтобы, встретив оживление жизни, бросить этому оживлению в глаза свою мрачную, упорную деятельность. Это удовольствие доставил себе Даву, когда к нему ввели Балашева. Он еще более углубился в свою работу, когда вошел русский генерал, и взглянув через очки на оживленное, под впечатлением прекрасного утра и беседы с Мюратом, лицо Балашева, не встал, не пошевелился даже, а еще больше нахмурился и злобно усмехнулся. Заметив на лице Балашева произведенное этим приемом неприятное впечатление, Даву поднял голову и холодно спросил, что ему нужно.

Предполагая, что такой прием мог быть сделан ему только потому, что Даву не знает, что он генерал-адъютант императора Александра и даже представитель его перед Наполеоном, Балашев поспешил сообщить свое звание и значение. В противность ожидания его, Даву, выслушав Балашева, стал еще суровее и грубее.

– Где же ваш пакет? – сказал он. – *Donnez-le moi, je l'enverrai à l'Empereur.*<sup>21</sup>

Балашев сказал, что он имеет приказание лично передать пакет самому императору.

– Приказания вашего императора исполняются в вашей армии, а здесь, – сказал Даву, – вы должны делать то, что вам говорят.

И как будто для того, чтоб еще больше дать почувствовать русскому генералу его зависимость от грубой силы, Даву послал адъютанта за дежурным.

Балашев вынул пакет, заключающий письмо государя, и положил его на стол (стол, состоявший из двери, на которой торчали оторванные петли, положенной на два боченка). Даву взял пакет и прочел надпись.

– Вы совершенно правы оказывать и не оказывать мне уважение, – сказал Балашев. – Но позвольте вам заметить, что я имею честь носить звание генерал-адъютанта его величества...

Даву взглянул на него молча, и некоторое волнение и смущение, выразившееся на лице Балашева, видимо доставили ему удовольствие.

– Вам будет оказано должное, – сказал он, и, положив конверт в карман, вышел из сарая.

Через минуту вошел адъютант маршала господин де-Кастре и провел Балашева в приготовленное для него помещение.

Балашев обедал в этот день в сарае с маршалом на той же доске на бочках.

На другой день Даву выехал рано утром, и, пригласив к себе Балашева, внушительно сказал ему, что он просит его оставаться здесь, подвигаться вместе с багажом, ежели они будут иметь на то приказания, и не разговаривать ни с кем кроме господина де-Кастре.

После четырехдневного уединения, скуки, сознания подвластности и ничтожества, особенно ощутительного после той среды могущества, в которой он так недавно находился, после нескольких переходов вместе с багажами маршала и с французскими войсками, занимавшими всю местность, Балашев привезен был в Вильну, занятую теперь французами, в ту же заставу, из которой он выехал четыре дня тому назад.

На другой день императорский камергер, *monsieur de Turenne*,<sup>22</sup> приехал к Балашеву и передал ему желание императора Наполеона удостоить его аудиенции.

Четыре дня тому назад у того же дома, к которому подвели Балашева, стояли Преображенского полка часовые, теперь же стояли два французских гренадера в раскрытых на груди синих мундирах и в мохнатых шапках, конвой гусаров и улан и блестящая свита адъютантов, пажей и генералов, ожидавших выхода Наполеона вокруг стоявшей у крыльца верховой лошади

<sup>21</sup> Дайте мне, его я пошлю императору.

<sup>22</sup> Граф Тюрен,

и его мамелюка Рустана. Наполеон принимал Балашева в том самом доме в Вильне, из которого отправлял его Александр.

## VI.

Несмотря на привычку Балашева к придворной торжественности, роскошь и пышность двора Наполеона поразили его.

Граф Тюрен ввел его в большую приемную, где дожидалось много генералов, камергеров и польских магнатов, из которых многих Балашев видал при дворе русского императора. Дюрок сказал, что император Наполеон примет русского генерала перед своею прогулкой.

После нескольких минут ожидания, дежурный камергер вышел в большую приемную и, учтиво поклонившись Балашеву, пригласил его идти за собой.

Балашев вошел в маленькую приемную, из которой одна дверь вела в кабинет, в тот самый кабинет, из которого отправлял его русский император. Балашев простоял минуты две ожидая. За дверью послышались поспешные шаги. Быстро отворились обе половинки двери, всё затихло, и из кабинета зазвучали другие твердые, решительные шаги: это был Наполеон. Он только что окончил свой туалет для верховой езды. Он был в синем мундире, раскрытом над белым жилетом, спускавшимся на круглый живот, в белых лосинах, обтягивавших жирные ляжки коротких ног, и в ботфортах. Короткие волосы его очевидно только что были причесаны, но одна прядь волос спускалась книзу над серединой широкого лба. Белая, пухлая шея его резко выступала из-за черного воротника мундира; от него пахло одеколоном. На молодежавом, полном лице его с выступающим подбородком было выражение милостивого и величественного императорского приветствия.

Он вышел, быстро подрагивая на каждом шагу и откинув несколько назад голову. Вся его потолстевшая, короткая фигура с широкими, толстыми плечами и невольно выставленным вперед животом и грудью, имела тот представительный, осанистый вид, который имеют в холе живущие сорокалетние люди. Кроме того видно было, что он в этот день находился в самом хорошем расположении духа.

Он кивнул головою, отвечая на низкий и почтительный поклон Балашева и, подойдя к нему, тотчас же стал говорить, как человек, дорожащий всякою минутой своего времени и не снисходящий до того, чтобы приготавливать свои речи, а уверенный в том, что он всегда скажет хорошо и что нужно сказать.

– Здравствуйте, генерал! – сказал он. – Я получил письмо императора Александра, которое вы доставили, и очень рад вас видеть. – Он взглянул в лицо Балашева своими большими глазами и тотчас же стал смотреть мимо него.

Очевидно было, что его не интересовала несколько личность Балашева. Видно было, что только то, что происходило в *его* душе, имело интерес для него. Всё, что было вне его, не имело для него значения, потому что всё в мире, как ему казалось, зависело только от его воли.

– Я не желаю и не желал войны, – сказал он, – но меня вынудили к ней. Я и *теперь* (он сказал это слово с ударением) готов принять все объяснения, которые вы можете дать мне. – И он ясно и коротко стал излагать причины своего неудовольствия против русского правительства.

Судя по умеренно-спокойному и дружелюбному тону, с которым говорил французский император, Балашев был твердо убежден, что он желает мира и намерен вступить в переговоры.

– Sire! L'Empereur, mon maître,<sup>23</sup> – начал Балашев давно приготовленную речь, когда Наполеон, окончив свою речь, вопросительно взглянул на русского посла; но взгляд устремленных на него глаз императора смутил его. «Вы смущены – оправьтесь», как будто сказал

---

<sup>23</sup> Ваше величество! Император, государь мой,

Наполеон, с чуть заметной улыбкой оглядывая мундир и шпагу Балашева. Балашев оправился и начал говорить. Он сказал, что император Александр не считает достаточной причиной для войны требование паспортов Куракиным, что Куракин поступил так по своему произволу и без согласия на то государя, что император Александр не желает войны, и что с Англией нет никаких сношений.

– *Еще* нет, – вставил Наполеон и, как будто боясь отдалиться своему чувству, нахмурился и слегка кивнул головой, давая этим почувствовать Балашеву, что он может продолжать.

Высказав всё, что ему было приказано, Балашев сказал, что император Александр желает мира, но не приступит к переговорам иначе как с тем условием, чтобы... Тут Балашев замялся: он вспомнил те слова, которые император Александр не написал в письме, но которые непременно приказал вставить в рескрипт Салтыкову и которые приказал Балашеву передать Наполеону. Балашев помнил про эти слова: «пока ни один вооруженный неприятель не останется на земле русской», но какое-то сложное чувство удержало его. Он не мог сказать этих слов, хотя и хотел это сделать. Он замялся и сказал: с условием, чтобы французские войска отступили за Неман.

Наполеон заметил смущение Балашева при высказывании последних слов: лицо его дрогнуло, левая икра ноги начала мерно дрожать. Не сходя с места, он голосом, более высоким и поспешным чем прежде, начал говорить. Во время последующей речи, Балашев, не раз опуская глаза, невольно наблюдал дрожание икры в левой ноге Наполеона, которое тем более усиливалось, чем более он возвышал голос.

– Я желаю мира не менее императора Александра, – начал он. – Не я ли осьмнадцать месяцев делаю всё, чтобы получить его? Я осьмнадцать месяцев жду объяснений. Но для того, чтобы начать переговоры, чего же требуют от меня? – сказал он, нахмурившись и делая энергически вопросительный жест своею маленькою, белою и пухлою рукой.

– Отступления войск за Неман, государь, – сказал Балашев.

– За Неман? – повторил Наполеон. – Так теперь вы хотите, чтоб отступили за Неман – только за Неман? – повторил Наполеон, прямо взглянув на Балашева.

Балашев почтительно наклонил голову.

Вместо требования четыре месяца тому назад отступить из Померании, теперь требовали только отступить за Неман. Наполеон быстро повернулся и стал ходить по комнате.

– Вы говорите, что от меня требуют отступления за Неман для начатия переговоров; но от меня требовали точно так же два месяца тому назад отступления за Одер и Вислу и, несмотря на то, вы согласны вести переговоры.

Он молча прошел от одного угла комнаты до другого и опять остановился против Балашева. Лицо его как будто окаменело в своем строгом выражении и левая нога дрожала еще быстрее, чем прежде. Это дрожание левой икры Наполеон знал за собой. *La vibration de mon mollet gauche est un grand signe chez moi,*<sup>24</sup> говорил он впоследствии.

– Такие предложения как то, чтоб очистить Одер и Вислу, можно делать принцу Баденскому, а не мне, – совершенно неожиданно для себя, почти вскрикнул Наполеон. – Ежели бы вы дали мне Петербург и Москву, я бы не принял этих условий. Вы говорите, я начал эту войну? А кто прежде приехал к армии? – император Александр, а не я. И вы предлагаете мне переговоры тогда, как я издержал миллионы, тогда как вы в союзе с Англией, и когда ваше положение дурно, – вы предлагаете мне переговоры! А какая цель вашего союза с Англией? Что она дала вам? – говорил он поспешно, очевидно уже направляя свою речь не к тому, чтобы высказать выгоды заключения мира и обсудить его возможность, а только к тому, чтобы доказать и свою правоту, и свою силу, и чтобы доказать неправоту и ошибки Александра.

<sup>24</sup> Дрожание моей левой икры есть великий признак.

Вступление его речи было сделано очевидно с целью выказать выгоду своего положения и показать, что, несмотря на то, он принимает открытие переговоров. Но он уже начал говорить, и чем больше он говорил, тем менее он был в состоянии управлять своею речью.

Вся цель его речи теперь уже очевидно была в том, чтобы только возвысить себя и оскорбить Александра, то есть именно сделать то самое, чего он менее всего хотел при начале свидания.

– Говорят, вы заключили мир с турками?

Балашев утвердительно наклонил голову.

– Мир заключен... – начал он. Но Наполеон не дал ему говорить. Ему, видно, нужно было говорить одному самому, и он продолжал говорить с тем красноречием и невоздержанием раздраженности, к которому так склонны балованные люди.

– Да я знаю, вы заключили мир с турками, не получив Молдавии и Валахии. А я бы дал вашему государю эти провинции так же, как я дал ему Финляндию. Да, — продолжал он, — я обещал и дал бы императору Александру Молдавию и Валахию, а теперь он не будет иметь этих прекрасных провинций. Он бы мог однако присоединить их к своей империи, и в одно царствование он бы расширил Россию от Ботнического залива до устьев Дуная. Екатерина Великая не могла бы сделать более, — говорил Наполеон, всё более и более разгораясь, ходя по комнате и повторяя Балашеву почти те же слова, которые он говорил самому Александру в Тильзите. — *Tout cela il l'aurait dû à mon amitié. Ah! quel beau règne, quel beau règne!* — повторил он несколько раз, остановился, достал золотую табакерку из кармана и жадно потянул из нее носом.

– *Quel beau règne aurait pu être celui de l'empereur Alexandre!*<sup>25</sup>

Он с сожалением взглянул на Балашева, и только что Балашев хотел заметить что-то, как он опять поспешно перебил его.

– Чего он мог желать и искать такого, чего бы он не нашел в моей дружбе?.. — сказал Наполеон, с недоумением пожимая плечами. — Нет, он нашел лучшим окружить себя моими врагами, и кем же? — продолжал он. — Он призвал к себе Штейнов, Армфельдтов, Бенигсенов, Винцингероде. Штейн — прогнанный из своего отечества изменник, Армфельдт — развратник и интриган, Винцингероде — беглый подданный Франции, Бенигсен несколько более военный, чем другие, но всё-таки неспособный, который ничего не умел сделать в 1807 году и который бы должен был возбуждать в императоре Александре ужасные воспоминания... Положим, ежели бы они были способны, можно бы их употреблять, — продолжал Наполеон, едва успевая словом поспевать за беспрестанно-возникающими соображениями, показывающими ему его правоту или силу (что в его понятии было одно и то же); — но и того нет: они не годятся ни для войны, ни для мира! Барклай, говорят, дельнее их всех; но я этого не скажу, судя по его первым движениям. А они что делают, что делают все эти придворные! Пфуль предлагает, Армфельдт спорит, Бенигсен рассматривает, а Барклай, призванный действовать, не знает, на что решиться, и время проходит. Один Багратион — военный человек. Он глуп, но у него есть опытность, глазомер и решительность... И что за роль играет ваш молодой государь в этой безобразной толпе? Они его компрометируют и на него сваливают ответственность всего совершающегося. *Un souverain ne doit être à l'armée que quand il est général,*<sup>26</sup> — сказал он, очевидно посылая эти слова прямо как вызов в лицо государя. Наполеон знал, как желал император Александр быть полководцем.

– Уже неделя как началась кампания, и вы не сумели защитить Вильну. Вы разрезаны надвое и прогнаны из польских провинций. Ваша армия ропщет.

<sup>25</sup> Всем этим он был бы обязан моей дружбе. О, какое прекрасное царствование могло бы быть царствование императора Александра! О, какое прекрасное царствование!

<sup>26</sup> Государь должен находиться при армии только тогда, когда он полководец,

– Напротив, ваше величество, – сказал Балашев, едва успевавший запоминать то, что говорилось ему, и с трудом следовавший за этим фейерверком слов, – войска горят желанием...

– Я всё знаю, – перебил его Наполеон, – я всё знаю, и знаю число ваших батальонов так же верно, как и моих. У вас нет 200 тысяч войска, а у меня втрое больше: даю вам честное слово, – сказал Наполеон, забывая, что это его честное слово никак не могло иметь значения, – даю вам *ma parole d'honneur que j'ai cinq cent trente mille hommes de ce côté de la Vistule*.<sup>27</sup> Турки вам не помощь: они никуда не годятся и доказали это, замирившись с вами. Шведы – их предопределение быть управляемыми сумасшедшими королями. Их король был безумный; они переменяли его и взяли другого, – Бернадота, который тотчас же сошел с ума, потому что сумасшедший только, будучи шведом, может заключать союзы с Россией. – Наполеон злобно усмехнулся и опять поднес к носу табакерку.

На каждую из фраз Наполеона Балашев хотел и имел что возражать; беспрестанно он делал движение человека, желавшего сказать что-то, но Наполеон перебивал его. Против безумия шведов Балашев хотел сказать, что Швеция есть остров, когда Россия за нее; но Наполеон сердито вскрикнул, чтобы заглушить его голос. Наполеон находился в том состоянии раздражения, в котором нужно говорить, говорить и говорить, только для того, чтобы самому себе доказать свою справедливость. Балашеву становилось тяжело: он, как посол, боялся уронить свое достоинство и чувствовал необходимость возражать; но, как человек, он сжимался нравственно перед забытием беспричинного гнева, в котором очевидно находился Наполеон. Он знал, что все слова, сказанные теперь Наполеоном, не имеют значения, что он сам, когда опомнится, устыдится их. Балашев стоял, опустив глаза, глядя на движущиеся, толстые ноги Наполеона, и старался избегать его взгляда.

– Да что мне эти ваши союзники? – говорил Наполеон. – У меня союзники – это поляки: их 80 тысяч, они дерутся как львы. И их будет 200 тысяч.

И вероятно еще более возмущившись тем, что, сказав это, он сказал очевидную неправду и что Балашев в той же покорной своей судьбе позе молча стоял перед ним, он круто повернулся назад, подошел к самому лицу Балашева и, делая энергические и быстрые жесты своими белыми руками, закричал почти:

– Знайте, что ежели вы поколеблете Пруссию против меня, знайте, что я сотру ее с карты Европы, – сказал он с бледным, искаженным злобой лицом, энергическим жестом одной маленькой руки ударяя по другой. – Да, я заброшу вас за Двину, за Днепр и восстановлю против вас ту преграду, которую Европа была преступна и слепа, что позволила разрушить. Да, вот что с вами будет, вот что вы выиграли, удалившись от меня, – сказал он и молча прошел несколько раз по комнате, вздрагивая своими толстыми плечами. Он положил в жилетный карман табакерку, опять вынул ее, несколько раз приставлял ее к носу и остановился против Балашева. Он помолчал, поглядел насмешливо прямо в глаза Балашеву и сказал тихим голосом: – *serpandant quel beau règne aurait pu avoir votre maître!*<sup>28</sup>

Балашев, чувствуя необходимость возражать, сказал, что со стороны России дела не представляются в таком мрачном виде. Наполеон молчал, продолжая насмешливо глядеть на него и очевидно его не слушая. Балашев сказал, что в России ожидают от войны всего хорошего. Наполеон снисходительно кивнул головой, как бы говоря: «Знаю, так говорить ваша обязанность, но вы сами в это не верите, вы убеждены мною».

В конце речи Балашева, Наполеон вынул опять табакерку, понюхал из нее и, как сигнал, стукнул два раза ногой по полу. Дверь отворилась; почтительно изгибающийся камергер подал императору шляпу и перчатки, другой подал носовой платок. Наполеон, не глядя на них, обратился к Балашеву:

<sup>27</sup> честное слово, что у меня 530 тысяч человек по сю сторону Вислы.

<sup>28</sup> а между тем какое прекрасное царствование *мог бы иметь* ваш государь!

– Уверьте от моего имени императора Александра, — сказал он взяв шляпу, — что я ему предан по-прежнему: я знаю его совершенно и весьма высоко ценю его высокие качества. *Je ne vous retiens plus, général, vous recevrez ma lettre à l'Empereur.*<sup>29</sup> – И Наполеон пошел быстро к двери. Из приемной всё бросилось вперед и вниз по лестнице.

## VII.

После всего того, что сказал ему Наполеон, после этих взрывов гнева и после последних, сухо сказанных слов: «*je ne vous retiens plus, général, vous recevrez ma lettre*», Балашев был уверен, что Наполеон уже не только не пожелает его видеть, но постарается не видеть его – оскорбленного посла и, главное, свидетеля его непристойной горячности. Но к удивлению своему, Балашев через Дюрока получил приглашение в этот день к столу императора.

На обеде были Бессьер, Коленкур и Бертье.

Наполеон встретил Балашева с веселым и ласковым видом. Не только не было в нем выражения застенчивости или упрека себе за утреннюю вспышку, но он, напротив, старался ободрить Балашева. Видно было, что уже давно для Наполеона в его убеждении не существовало возможности ошибок и что в его понятии всё то, что он делал, было хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того, что хорошо и дурно, но потому что *он* делал это.

Император был очень весел после своей верховой прогулки по Вильне, в которой толпы народа с восторгом встречали и провожали его. Во всех окнах улиц, по которым он проезжал, были выставлены ковры, знамена, вензеля его, и польские дамы, приветствуя его, махали ему платками.

За обедом, посадив подле себя Балашева, он обращался с ним не только ласково, но обращался так, как будто он и Балашева считал в числе своих придворных, в числе тех людей, которые сочувствовали его планам и должны были радоваться его успехам. Между прочим разговором он заговорил о Москве и стал спрашивать Балашева о русской столице, не только как спрашивает любознательный путешественник о новом месте, которое он намеревается посетить, но как бы с убеждением, что Балашев, как русский, должен быть польщен этою любознательностью.

– Сколько жителей в Москве, сколько домов? Правда ли, что *Moscou* называют *Moscou la sainte*?<sup>30</sup> Сколько церквей в *Moscou*? – спрашивал он.

И на ответ, что церквей более двухсот, он сказал:

– К чему такая бездна церквей?

– Русские очень набожны, – отвечал Балашев.

– Впрочем, большое количество монастырей и церквей есть всегда признак отсталости народа, – сказал Наполеон, – оглядываясь на Коленкура за оценкой этого суждения.

Балашев почтительно позволил себе не согласиться с мнением французского императора.

– У каждой страны свои нравы, – сказал он.

– Но уже нигде в Европе нет ничего подобного, – сказал Наполеон.

– Прошу извинения у вашего величества, – сказал Балашев: – кроме России есть еще Испания, где так же много церквей и монастырей.

Этот ответ Балашева, намекавший на недавнее поражение французов в Испании, был высоко оценен, по рассказам Балашева, при дворе императора Александра и очень мало был оценен теперь за обедом Наполеона и прошел незаметно.

По равнодушным и недоумевающим лицам господ маршалов видно было, что они недоумевали, в чем тут состояла острота, на которую намекала интонация Балашева. «Ежели и была

<sup>29</sup> Не удерживаю вас более, генерал, вы получите мое письмо к государю.

<sup>30</sup> святою?

она, то мы не поняли ее или она вовсе не остроумна», говорили выражения лиц маршалов. Так мало был оценен этот ответ, что Наполеон даже решительно не заметил его и наивно спросил Балашева о том, на какие города идет отсюда прямая дорога к Москве. Балашев, бывший всё время обеда настороже, отвечал, что *comme tout chemin mène à Rome, tout chemin mène à Moscou*,<sup>31</sup> что есть много дорог, и что в числе этих разных путей, есть дорога на *Полтаву*, которую избрал Карл XII, сказал Балашев, невольно вспыхнув от удовольствия в удаче этого ответа. Не успел Балашев досказать последних слов: «*Poltawa*», как уже Коленкур заговорил о неудобствах дороги из Петербурга в Москву и о своих петербургских воспоминаниях.

После обеда перешли пить кофе в кабинет Наполеона, четыре дня тому назад бывший кабинетом императора Александра. Наполеон сел, потрогивая кофе в севрской чашке, и указал на стул подле себя Балашеву.

Есть в человеке известное, послеобеденное расположение духа, которое сильнее всяких разумных причин заставляет человека быть довольным собой и считать всех своими друзьями. Наполеон находился в этом расположении. Ему казалось, что он окружен людьми, обожающими его. Он был убежден, что и Балашев после его обеда был его другом и обожателем. Наполеон обратился к нему с приятною и слегка-насмешливою улыбкой.

– Это та же комната, как мне говорили, в которой жил император Александр. Странно, неправда ли, генерал? – сказал он, очевидно не сомневаясь в том, что это обращение не могло не быть приятно его собеседнику, так как оно доказывало превосходство его, Наполеона, над Александром.

Балашев ничего не мог отвечать на это и молча наклонил голову.

– Да, в этой комнате, четыре дня тому назад, совещались Винцингероде и Штейн, с тою же насмешливою, уверенною улыбкой продолжал Наполеон. – Чего я не могу понять, – сказал он, – это того, что император Александр приблизил к себе всех личных моих неприятелей. Я этого не... понимаю. Он не подумал о том, что я могу сделать то же? – с вопросом обратился он к Балашеву, и очевидно это воспоминание втолкнуло его опять в тот след утреннего гнева, который еще был свеж в нем.

– И пусть он знает, что я это сделаю, – сказал Наполеон, вставая и отталкивая рукой свою чашку. – Я выгоню из Германии всех его родных, Виртембергских, Баденских, Веймарских... да, я выгоню их. Пусть он готовит для них убежище в России!

Балашев наклонил голову, видом своим показывая, что он желал бы откланяться, и слушает только потому, что он не может не слушать того, что ему говорят. Наполеон не замечал этого выражения; он обращался к Балашеву не как к послу своего врага, а как к человеку, который теперь вполне предан ему и должен радоваться унижению своего бывшего господина.

– И зачем император Александр принял начальство над войсками? К чему это? Война мое ремесло, а его дело царствовать, а не командовать войсками. Зачем он взял на себя такую ответственность?

Наполеон опять взял табакерку, молча прошелся несколько раз по комнате и вдруг неожиданно подошел к Балашеву и с легкой улыбкой так уверенно, быстро, просто, как будто он делал какое-нибудь не только важное, но и приятное для Балашева дело, поднял руку к лицу сорокалетнего русского генерала и, взяв его за ухо, слегка дернул, улыбнувшись одними губами.

*Avoir l'oreille tirée par l'Empereur*<sup>32</sup> считалось величайшею честью и милостью при французском дворе.

<sup>31</sup> как всякая дорога по пословице ведет в Рим, так и все дороги ведут в Москву,

<sup>32</sup> Быть выданным за ухо императором

– Eh bien, vous ne dites rien, admirateur et courtisan de l'Empereur Alexandre?<sup>33</sup> – сказал он, как будто смешно было быть в его присутствии чьим-нибудь courtisan и admirateur<sup>34</sup> кроме его, Наполеона.

– Готовы ли лошади для генерала? – прибавил он, слегка наклоняя голову в ответ на поклон Балашева.

– Дайте ему моих, ему *далеко ехать*...

Письмо, привезенное Балашевым, было последнее письмо Наполеона к Александру. Все подробности разговора были переданы русскому императору, и война началась.

## VIII.

После свидания своего в Москве с Пьером, князь Андрей уехал в Петербург по делам, как он сказал своим родным, но в сущности для того, чтобы встретить там князя Анатоля Курагина, которого он считал необходимым встретить. Курагина, о котором он осведомился, приехав в Петербург, уже там не было. Пьер дал знать своему шурину, что князь Андрей едет за ним. Анатолий Курагин тотчас получил назначение от военного министра и уехал в Молдавскую армию. В это же время в Петербурге князь Андрей встретил Кутузова, своего прежнего, всегда расположенного к нему, генерала, и Кутузов предложил ему ехать с ним вместе в Молдавскую армию, куда старый генерал назначался главнокомандующим. Князь Андрей, получив назначение состоять при штабе главной квартиры, уехал в Турцию.

Князь Андрей считал неудобным писать к Курагину и вызвать его. Не подав нового повода к дуэли, князь Андрей считал вызов с своей стороны компрометирующим графиню Ростову, и потому он искал личной встречи с Курагиным, в которой он намерен был найти новый повод к дуэли. Но в Турецкой армии ему также не удалось встретить Курагина, который вскоре после приезда князя Андрея в Турецкую армию, вернулся в Россию. В новой стране и в новых условиях жизни князю Андрею стало жить легче. После измены своей невесты, которая тем сильнее поразила его, чем старательнее он скрывал ото всех произведенное на него действие, для него были тяжелы те условия жизни, в которых он был счастлив, и еще тяжелее были свобода и независимость, которыми он так дорожил прежде. Он не только не думал тех прежних мыслей, которые в первый раз пришли ему, когда он глядел на небо на Аустерлицком поле, которые он любил развивать с Пьером и которые наполняли его уединение в Богучарове, а потом в Швейцарии и Риме; но он даже боялся вспомнить об этих мыслях, раскрывавших бесконечные и светлые горизонты. Его интересовали теперь только самые ближайшие, не связанные с прежними, практические интересы, за которые он хватывался с тем большею жадностью, чем закрытые были от него прежние. Как будто тот бесконечный удаляющийся свод неба, стоявший прежде над ним, вдруг превратился в низкий, определенный, давивший его свод, в котором всё было ясно, но ничего не было вечного и таинственного.

Из представлявшихся ему деятельностей, военная служба была самая простая и знакомая ему. Состоя в должности дежурного генерала при штабе Кутузова, он упорно и усердно занимался делами, удивляя Кутузова своею охотой к работе и аккуратностью. Не найдя Курагина в Турции, князь Андрей не считал необходимым скакать за ним опять в Россию; но, при всем том, он знал, что сколько бы ни прошло времени, он не мог, встретив Курагина, несмотря на всё презрение, которое он имел к нему, несмотря на все доказательства, которые он делал себе, что ему не стоит унижаться до столкновения с ним, он знал, что, встретив его, он не мог не вызвать его, как не может голодный человек не броситься на пищу. И это сознание того, что оскорбление еще не вымещено, что злоба не излита, а лежит на сердце, отравляло то искус-

<sup>33</sup> Ну-с, что ж вы ничего не говорите, обожатель и придворный императора Александра?

<sup>34</sup> придворным и обожателем

ственное спокойствие, которое в виде озабоченно-хлопотливой и несколько честолюбивой и тщеславной деятельности устроил себе князь Андрей в Турции.

В 12-м году, когда до Букарешта (где два месяца жил Кутузов, проводя дни и ночи у своей Валашки) дошла весть о войне с Наполеоном, князь Андрей попросил у Кутузова перевода в западную армию. Кутузов, которому уже надоел Болконский своею деятельностью, служившею ему упрёком в праздности, Кутузов весьма охотно отпустил его и дал ему поручение к Барклаю-де-Толли.

Прежде чем ехать в армию, находившуюся в мае в Дрисском лагере, князь Андрей заехал в Лысые Горы, которые были на самой его дороге, находясь в трех верстах от Смоленского большака. Последние три года в жизни князя Андрея было так много переворотов, так много он передумал, перечувствовал, перевидел (он объехал и запад и восток), что его странно и неожиданно поразило при въезде в Лысые Горы всё точно то же, до малейших подробностей – точно то же течение жизни. Он как в заколдованный, заснувший замок въехал в аллею и в каменные ворота Лысогорского дома. Та же степенность, та же чистота, та же тишина была в этом доме, те же мебели, те же стены, те же звуки, тот же запах и те же робкие лица, только несколько постаревшие. Княжна Марья была всё та же робкая, некрасивая, стареющая девушка, в страхе и вечных нравственных страданиях, без пользы и радости проживающая лучшие годы своей жизни. Bourienne была та же радостно-пользующаяся каждою минутой своей жизни и исполненная самых для себя радостных надежд, довольная собой, кокетливая девушка. Она только стала увереннее, как показалось князю Андрею. Привезенный им из Швейцарии воспитатель Десаль был одет в сюртук русского покроя, коверкая язык говорил по-русски со слугами, но был всё тот же ограниченно-умный, образованный, добродетельный и педантический воспитатель. Старый князь переменялся физически только тем, что с боку рта у него стал заметен недостаток одного зуба; нравственно он был всё такой же как и прежде, только с еще большим озлоблением и недоверием к действительности того, что происходило в мире. Один только Николушка вырос, переменялся, раздумялся, оброс курчавыми, темными волосами, и, сам не зная того, смеясь и веселясь, поднимал верхнюю губку хорошенького ротика точно так же, как ее поднимала покойница маленькая княгиня. Он один не слушался закона неизменности в этом заколдованном, спящем замке. Но хотя по внешности всё оставалось по старому, внутренние отношения всех этих лиц изменились с тех пор, как князь Андрей не видал их. Члены семейства были разделены на два лагеря, чуждые и враждебные между собой, которые сходились теперь только при нем, для него изменяя свой обычный образ жизни. К одному принадлежали старый князь, Bourienne и архитектор, к другому – княжна Марья, Десаль, Николушка и все няньки и мамки.

Во время его пребывания в Лысых Горах, все домашние обедали вместе, но всем было неловко, и князь Андрей чувствовал, что он гость, для которого делают исключение, что он стесняет всех своим присутствием. Во время обеда первого дня князь Андрей, невольно чувствуя это, был молчалив, и старый князь, заметив неестественность его состояния, тоже угрюмо замолчал и сейчас после обеда ушел к себе. Когда ввечеру князь Андрей пришел к нему и, стараясь расшевелить его, стал рассказывать ему о кампании молодого графа Каменского, старый князь неожиданно начал разговор с ним о княжне Марье, осуждая ее за ее суеверие, за ее нелюбовь к m-lle Bourienne, которая, по его словам, была одна истинно предана ему.

Старый князь говорил, что ежели он болен, то только от княжны Марьи; что она нарочно мучает и раздражает его; что она баловством и глупыми речами портит маленького князя Николая. Старый князь знал очень хорошо, что он мучает свою дочь, что жизнь ее очень тяжела; но знал тоже, что он не может не мучить ее и что она заслуживает этого. «Почему же князь Андрей, который видит это, мне ничего не говорит про сестру?» думал старый князь. «Что же он думает, что я злодей или старый дурак, без причины отдалился от дочери и приблизил к себе француженку? Он не понимает, и потому надо объяснить ему, надо, чтоб он

выслушал», думал старый князь. И он стал объяснять причины, по которым он не мог переносить бестолкового характера дочери.

– Ежели вы спрашиваете меня, – сказал князь Андрей, не глядя на отца (он в первый раз в жизни осуждал своего отца), – я не хотел говорить; но ежели вы меня спрашиваете, то я скажу вам откровенно свое мнение насчет всего этого. Ежели есть недоразумения и разлад между вами и Машей, то я никак не могу винить ее – я знаю, как она вас любит и уважает. Ежели уж вы спрашиваете меня, – продолжал князь Андрей, раздражаясь, потому что он всегда был готов на раздражение в последнее время, – то я одно могу сказать: ежели есть недоразумения, то причиной их ничтожная женщина, которая бы не должна была быть подругой сестры.

Старик сначала остановившимися глазами смотрел на сына, и ненатурально открыл улыбкой новый недостаток зуба, к которому князь Андрей не мог привыкнуть.

– Какая же подруга, голубчик? А? Уж переговорил! А?

– Батюшка, я не хотел быть судьей, – сказал князь Андрей желчным и жестким тоном, – но вы вызвали меня, и я сказал и всегда скажу, что княжна Марья не виновата, а виноваты... виновата эта француженка...

– А, присудил!.. присудил! – сказал старик тихим голосом и, как показалось князю Андрею, с смущением, но потом вдруг он вскочил и закричал: – Вон, вон! Чтобы духу твоего тут не было !..

Князь Андрей хотел тотчас же уехать, но княжна Марья упросила его остаться еще день. В этот день князь Андрей не виделся с отцом, который не выходил и никого не пускал к себе, кроме m-lle Bourienne и Тихона, и спрашивал несколько раз о том, уехал ли его сын. На другой день перед отъездом князь Андрей пошел на половину сына. Здоровый, по матери кудрявый мальчик сел ему на колени. Князь Андрей начал сказывать ему сказку о Синей Бороде, но, не досказав, задумался. Он думал не об этом хорошеньком мальчике-сыне в то время, как он его держал на коленях, а думал о себе. Он с ужасом искал и не находил в себе ни раскаяния в том, что он раздражил отца, ни сожаления о том, что он (в ссоре в первый раз в жизни) уезжает от него. Главнее всего ему было то, что он искал и не находил той прежней нежности к сыну, которую он надеялся возбудить в себе, приласкав мальчика и посадив его к себе на колени.

– Ну, рассказывай же, – говорил сын. Князь Андрей, не отвечая ему, снял его с колен и пошел из комнаты.

Как только князь Андрей оставил свои ежедневные занятия, в особенности как только он вступил в прежние условия жизни, в которых он был еще тогда, когда он был счастлив, тоска жизни охватила его с прежнею силой, и он спешил поскорее уйти от этих воспоминаний и найти поскорее какое-нибудь дело.

– Ты решительно едешь, André? – сказала ему сестра.

– Слава Богу, что могу ехать, – сказал князь Андрей; – очень жалею, что ты не можешь.

– Зачем ты это говоришь! – сказала княжна Марья. – Зачем ты это говоришь теперь, когда ты едешь на эту страшную войну, и он так стар! M-lle Bourienne говорила, что он спрашивал про тебя... Как только она начала говорить об этом, губы ее задрожали, и слезы закапали. Князь Андрей отвернулся от нее и стал ходить по комнате.

– Ах Боже мой! Боже мой! – сказал он. – И как подумаешь, что и кто – какое ничтожество может быть причиной несчастья людей! – сказал он со злобою, испугавшею княжну Марью.

Она поняла, что, говоря про людей, которых он называл ничтожеством, он разумел не только m-lle Bourienne, делавшую его несчастье, но и того человека, который погубил его счастье.

– André, об одном я прошу, я умоляю тебя, – сказала она, дотрогиваясь до его локтя и сияющими сквозь слезы глазами глядя на него. – Я понимаю тебя (княжна Марья опустила глаза). Не думай, что горе сделали люди. Люди – орудие Его. – Ока взглянула немного повыше головы князя Андрея, тем уверенным, привычным взглядом, которым смотрят на знакомое

место портрета. – Горе послано Им, а не людьми. Люди – Его орудия, они не виноваты. Ежели тебе кажется, что кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это и прости. Мы не имеем права наказывать. И ты поймешь счастье прощать.

– Ежели бы я был женщина, я бы это делал, Marie. Это добродетель женщины. Но мужчина не должен и не может забывать и прощать, – сказал он и, хотя он до этой минуты не думал о Курагине, вся невымещенная злоба вдруг поднялась в его сердце. «Ежели княжна Марья уже уговаривает меня простить, то значит давно мне надо было наказать», подумал он. И, не отвечая более княжне Марье, он стал думать теперь о той радостной, злобной минуте, когда он встретит Курагина, который (он знал) находится в армии.

Княжна Марья умоляла брата подождать еще день, говорила о том, что она знает, как будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним; но князь Андрей отвечал, что он вероятно, скоро приедет опять из армии, что непременно напишет отцу и что теперь чем дальше оставаться, тем больше растравится этот раздор.

– Adieu, André! Rappelez vous que les malheurs viennent de Dieu, et que les hommes ne sont jamais coupables,<sup>35</sup> – были последние слова, которые он слышал от сестры, когда прощался с нею.

«Так это должно быть!» думал князь Андрей, выезжая из аллеи Лысогорского дома. «Она, жалкое невинное существо, остается на съедение выжившему из ума старику. Старик чувствует, что виноват, но не может изменить себя. Мальчик мой растет и радуется жизни, в которой он будет таким же, как и все, обманутым или обманывающим. Я еду в армию, зачем? – сам не знаю, и желаю встретить того человека, которого презираю, для того, чтобы дать ему случай убить меня и посмеяться надо мной!» И прежде были всё те же условия жизни, но прежде они все вязались между собою, а теперь всё рассыпалось. Одни бессмысленные явления, без всякой связи, одно за другим представлялись князю Андрею.

## IX.

Князь Андрей приехал в главную квартиру армии в конце июня. Войска первой армии, той, при которой находился государь, были расположены в укрепленном лагере у Дриссы; войска второй армии отступали, стремясь соединиться с первою армией, от которой – как говорили – они были отрезаны большими силами французов. Все были недовольны общим ходом военных дел в русской армии; но об опасности нашествия в русские губернии никто и не думал, никто и не предполагал, чтобы война могла быть перенесена далее западных польских губерний.

Князь Андрей нашел Барклай-де-Толли, к которому он был назначен, на берегу Дриссы. Так как не было ни одного большого села или местечка в окрестностях лагеря, то всё огромное количество генералов и придворных, бывших при армии, располагалось в окружности десяти верст по лучшим домам деревень, по сю и по ту сторону реки. Барклай-де-Толли стоял в 4-х верстах от государя. Он сухо и холодно принял Болконского, и сказал своим немецким выговором, что он доложит о нем государю для определения ему назначения, а покамест просит его состоять при его штабе. Анатоля Курагина, которого князь Андрей надеялся найти в армии, не было здесь: он был в Петербурге, и это известие было приятно Болконскому. Интерес центра производящейся огромной войны занял князя Андрея, и он рад был на некоторое время освободиться от развлечения, которое производила в нем мысль о Курагине. В продолжение первых четырех дней, во время которых он не был никуда требуем, князь Андрей объездил весь укрепленный лагерь, и с помощью своих знаний и разговоров с сведущими людьми, старался составить себе о нем определенное понятие. Но вопрос о том, выгоден или не выгоден

---

<sup>35</sup> Прощай, Андрей! Помни, что несчастья происходят от Бога, и что люди никогда не бывают виноваты.

этот лагерь, остался нерешенным для князя Андрея. Он уже успел вывести из своего военного опыта то убеждение, что в военном деле ничего не значат самые глубокомысленно-обдуманые планы (как он видел это в Аустерлицком походе), что всё зависит от того, как отвечают на неожиданные и не могущие быть предвиденными действия неприятеля, что всё зависит от того, как и кем ведется всё дело. Для того чтобы уяснить себе этот последний вопрос, князь Андрей, пользуясь своим положением и знакомствами, старался вникнуть в характер управления армией, лиц и партий, участвовавших в оном и вывел для себя следующее понятие о положении дел.

Когда еще государь был в Вильне, армия была разделена на трое: 1-я армия находилась под начальством Барклая-де-Толли, 2-я под начальством Багратиона, 3-я под начальством Тормасова. Государь находился при первой армии, но не в качестве главнокомандующего. В приказах было сказано, что государь будет – не командовать, а сказано только, что государь будет при армии. Кроме того при государе лично не было штаба главнокомандующего, а был штаб императорской главной квартиры. При нем был начальник императорского штаба, генерал-квартирмейстер князь Волконский, генералы, флигель-адъютанты, дипломатические чиновники и большое количество иностранцев, но не было штаба армии. Кроме того, без должности при государе находились: Аракчеев – бывший военный министр, граф Бенигсен – по чину старший из генералов, великий князь цесаревич Константин Павлович, граф Румянцев – канцлер, Штейн – бывший прусский министр, Армфельд – шведский генерал, Пфуль – главный составитель плана кампании, генерал-адъютант Паулучи – сардинский выходец, Вольцоген и многие другие. Хотя эти лица и находились без военных должностей при армии, но по своему положению имели влияние, и часто корпусный начальник и даже главнокомандующий не знал, в качестве чего спрашивает или советует то или другое Бенигсен, или великий князь, или Аракчеев, или князь Волконский, и не знал, от его ли лица, или от государя истекает такое-то приказание в форме совета, и нужно или не нужно исполнять его. Но это была внешняя обстановка, существенный же смысл присутствия государя и всех этих лиц с придворной точки (а в присутствии государя все делается придворными) всем был ясен. Он был следующий: государь не брал на себя звания главнокомандующего, но распоряжался всеми армиями; люди, окружавшие его, были его помощники. Аракчеев был верный исполнитель-блюститель порядка и телохранитель государя; Бенигсен был помещик Виленской губернии, который как будто делал *les honneurs*<sup>36</sup> края, а в сущности был хороший генерал, полезный для совета и для того, чтоб иметь его всегда наготове на смену Барклая. Великий князь был тут потому, что ему это было угодно. Бывший министр Штейн был тут потому, что он был полезен для совета и потому, что император Александр высоко ценил его личные качества. Армфельд был злой ненавистник Наполеона и генерал, уверенный в себе, что имело всегда влияние на Александра. Паулучи был тут потому, что он был смел и решителен в речах. Генерал-адъютанты были тут потому, что они везде были, где государь, и наконец главное – Пфуль был тут потому, что он составил план войны против Наполеона и, заставив Александра поверить в целесообразность этого плана, руководил всем делом войны. При Пфуле был Вольцоген, передававший мысли Пфуля в более доступной форме, чем сам Пфуль, резкий, самоуверенный до презрения ко всем, кабинетный теоретик.

Кроме этих поименованных лиц, русских и иностранцев (в особенности иностранцев, которые с смелостью, свойственной людям в деятельности среди чужой среды, каждый день предлагали новые неожиданные мысли), было еще много лиц второстепенных, находившихся при армии потому, что тут были их принципалы.

В числе всех мыслей и голосов в этом огромном, беспокойном, блестящем и гордом мире, князь Андрей видел следующие, более резкие подразделения направлений и партий.

---

<sup>36</sup> был занят делом приема государя

Первая партия была: Пфуль и его последователи, теоретики войны, верящие в то, что есть наука войны, и что в этой науке есть свои неизменные законы, законы облического движения, обхода и т. п. Пфуль и последователи его требовали отступления в глубь страны, по точным законам, предписанным мнимой теорией войны, и во всяком отступлении от этой теории видели только варварство, необразованность или злонамеренность. К этой партии принадлежали немецкие принцы, Вольцоген, Винцингероде и другие, преимущественно немцы.

Вторая партия была противоположная первой. Как и всегда бывает, при одной крайности были представители другой крайности. Люди этой партии были те, которые с Вильны требовали наступления в Польшу и свободы от всяких вперед составленных планов. Кроме того, что представители этой партии были представители смелых действий, они вместе с тем были и представителями национальности, вследствие чего становились еще одностороннее в споре. Это были русские: Багратион, начинавший возвышаться Ермолов и другие. В это время была распространена известная шутка Ермолова, будто бы просившего государя об одной милости – производства его в немцы. Люди этой партии говорили, вспоминая Суворова, что надо не думать, не накалывать иголками карту, а драться, бить неприятеля, не впускать его в Россию и не давать унывать войску.

К третьей партии, к которой более всего имел доверия государь, принадлежали придворные делатели сделок между обоими направлениями. Люди этой партии, большею частью не военные и к которой принадлежал Аракчеев, думали и говорили, что говорят обыкновенно люди, не имеющие убеждений, но желающие казаться за таковых. Они говорили, что без сомнения война, особенно с таким гением как Бонапарте (его опять называли Бонапарте) требует глубокомысленнейших соображений, глубокого знания науки, и в этом деле Пфуль гениален; но вместе с тем нельзя не признать того, что теоретики часто односторонни, и потому не надо вполне доверять им, надо прислушиваться и к тому, что говорят противники Пфуля, и к тому, что говорят люди практические, опытные в военном деле, и из всего взять среднее. Люди этой партии настояли на том, чтоб, удержав Дрисский лагерь по плану Пфуля, изменить движения других армий. Хотя этим образом действий не достигалась ни та ни другая цель, но людям этой партии казалось так лучше.

Четвертое направление было направление, которого самым видным представителем был великий князь, наследник-цесаревич, не могший забыть своего Аустерлицкого разочарования, где он, как на смотр, выехал пред гвардию в каске и колете, рассчитывая молодецки раздавить французов, и, попав неожиданно в первую линию, насилу ушел в общем смятении. Люди этой партии имели в своих суждениях и качество и недостаток искренности. Они боялись Наполеона, видели в нем силу, в себе слабость и прямо высказывали это. Они говорили: «Ничего кроме горя, срама и гибели из всего этого не выйдет! Вот мы оставили Вильну, оставили Витебск, оставим и Дриссу. Одно, что нам остается умного сделать, это заключить мир и как можно скорее, пока не выгнали нас из Петербурга!»

Воззрение это, сильно распространенное в высших сферах армии, находило себе поддержку и в Петербурге, и в канцлере Румянцеве, по другим государственным причинам стоявшем также за мир.

Пятые были приверженцы Барклая-де-Толли, не столько как человека, сколько как военного министра и главнокомандующего. Они говорили: «Какой он ни есть (всегда так начинали), но он честный, дельный человек, и лучше его нет. Дайте ему настоящую власть, потому что война не может идти успешно без единства начальствования, и он покажет то, что он может сделать, как он показал себя в Финляндии. Ежели армия наша устроена и сильна и отступила до Дриссы, не понесши никаких поражений, то мы обязаны этим только Барклаю. Ежели теперь заменят Барклая Бенигсеном, то всё погибнет; потому что Бенигсен уже показал свою неспособность в 1807 году», говорили люди этой партии.

Шестые, бенигсенисты, говорили напротив, что всё-таки не было никого дельнее и опытнее Бенигсена, и как ни вертись, всё-таки придешь к нему. И люди этой партии доказывали, что всё наше отступление до Дриссы было постыднейшее поражение и непрерывный ряд ошибок. «Чем больше наделают ошибок, говорили они, тем лучше, по крайней мере скорее поймут, что так не может идти. А нужен не какой-нибудь Барклай, а человек как Бенигсен, который показал уже себя в 1807-м году, которому отдал справедливость сам Наполеон, и такой человек, за которым бы охотно признавали власть, а такой есть только один Бенигсен».

Седьмые – были лица, которые всегда есть при государях, в особенности при молодых и которых особенно много было при императоре Александре, лица генералов и флигель-адъютантов, страстно преданные государю не как императору, но обожающие его, как человека искренно и бескорыстно, как его обожал Ростов в 1805-м году, и видящие в нем не только все добродетели, но и все качества человеческие. Эти лица, хотя и восхищались скромностью государя, отказывавшегося от командования войсками, но осуждали эту излишнюю скромность, и желали только одного и настаивали на том, чтоб обожаемый государь, оставив излишнее недоверие к себе, объявил открыто, что он становится во главе войска, составил бы при себе штаб-квартиру главнокомандующего и, советуясь где нужно с опытными теоретиками и практиками, сам бы вел свои войска, которых одно это довело бы до высшего состояния воодушевления.

Восьмая, самая большая группа людей, которая по своему огромному количеству относилась к другим, как 99 к 1-му, состояла из людей, не желавших ни мира, ни войны, ни наступательных движений, ни оборонительного лагеря ни при Дриссе, ни где бы то ни было, ни Баркляя, ни государя, ни Пфуля, ни Бенигсена, но желающих только одного и самого существенного: наибольших для себя выгод и удовольствий. В той мутной воде перекрещивающихся и перепутывающихся интриг, которые кишели при главной квартире государя, в весьма многом можно было успеть в таком, что немислимо бы было в другое время. Один, не желая только потерять своего выгодного положения, нынче соглашался с Пфулем, завтра с противником его, послезавтра утверждал, что не имеет никакого мнения об известном предмете, только для того, чтоб избежать ответственности и угодить государю. Другой, желающий приобрести выгоды, обращал на себя внимание государя, громко крича то самое, на что намекнул государь накануне, спорил и кричал в совете, ударяя себя в грудь и вызывая несогласующихся на дуэль и тем показывая, что он готов быть жертвою общей пользы. Третий просто выпрашивал себе, между двух советов и в отсутствии врагов, единовременное пособие за свою верную службу, зная, что теперь некогда будет отказать ему. Четвертый нечаянно всё попался на глаза государю, отягченный работой. Пятый, для того чтобы достигнуть давно желанной цели – обеда у государя, ожесточенно доказывал правоту или неправоту вновь выступившего мнения и для этого приводил более или менее сильные и справедливые доказательства.

Все люди этой партии ловили рубли, кресты, чины, и в этом ловлении следили только за направлением флюгера царской милости, и только что замечали, что флюгер обратился в одну сторону, как всё это трутневое население армии начинало дуть в ту же сторону, так что государю тем труднее было повернуть его в другую. Среди неопределенности положения, при угрожающей, серьезной опасности, придававшей всему особенно-тревожный характер, среди этого вихря интриг, самолюбий, столкновений, различных воззрений и чувств, при разноплеменности всех этих лиц, эта восьмая, самая большая партии людей, занятых личными интересами, придавала большую запутанность и смутность общему делу. Какой бы ни поднимался вопрос, а уж рой трутней этих, не отрубив еще над прежнюю тему, перелетал на новую и своим жужжанием заглушал и затемнял искренние, спорящие голоса.

Из всех этих партий в то самое время, как князь Андрей приехал к армии, собралась еще одна девятая партия, начинавшая поднимать свой голос. Это была партия людей старых, разумных, государственно-опытных и умевших, не разделяя ни одного из противоречащих

мнений, отвлеченно посмотреть на всё, что делалось при штабе главной квартиры, и обдумать средства к выходу из этой неопределенности, нерешительности, запутанности и слабости.

Люди этой партии говорили и думали, что всё дурное происходит преимущественно от присутствия государя с военным двором при армии, что в армию перенесена та неопределенная, условная и колеблющаяся шаткость отношений, которая удобна при дворе, но вредна в армии; что государю нужно царствовать, а не управлять войском, что единственный выход из этого положения есть отъезд государя с его двором из армии; что одно присутствие государя парализует 50 тысяч войска, нужных для обеспечения его личной безопасности; что самый плохой, но независимый главнокомандующий будет лучше самого лучшего, но связанного присутствием и властью государя.

В то самое время как князь Андрей жил без дела при Дриссе, Шишков, государственный секретарь, бывший одним из главных представителей этой партии, написал государю письмо, которое согласились подписать Балашев и Аракчеев. В письме этом, пользуясь данным ему от государя позволением рассуждать об общем ходе дел, он почтительно и под предлогом необходимости для государя воодушевить к войне народ в столице, предлагал государю оставить войско.

Одушевление государем народа и воззвание к нему для защиты отечества – то самое (на сколько оно произведено было личным присутствием государя в Москве) одушевление народа, которое было главною причиной торжества России, было представлено государю и принято им, как предлог для оставления армии.

## Х.

Письмо это еще не было подано государю, когда Барклай за обедом передал Болконскому, что государю лично угодно видеть князя Андрея, для того чтобы расспросить его о Турции, и что князь Андрей имеет явиться в квартиру Бенигсена, в шесть часов вечера.

В этот же день в квартире государя было получено известие о новом движении Наполеона, могущем быть опасным для армии, известие, впоследствии оказавшееся несправедливым. И в это же утро полковник Мишо объезжал с государем дрисские укрепления и доказывал государю, что укрепленный лагерь этот, устроенный Пфулем и считавшийся до сих пор *chef-d'oeuvre*<sup>37</sup> тактики, долженствующим погубить Наполеона, – что лагерь этот есть бессмыслица и погибель русской армии.

Князь Андрей приехал в квартиру генерала Бенигсена, занимавшего небольшой помещичий дом на самом берегу реки. Ни Бенигсена, ни государя не было там; но Чернышев, флигель-адъютант государя, принял Болконского и объявил ему, что государь поехал с генералом Бенигсеном и с маркизом Паулучи другой раз в нынешний день для объезда укреплений Дрисского лагеря, в удобности которого начинали сильно сомневаться.

Чернышев сидел с книгой французского романа у окна первой комнаты. Комната эта, вероятно, прежде была залой; в ней еще стоял орган, на который навалены были какие-то ковры, и в одном угле стояла складная кровать адъютанта Бенигсена. Этот адъютант был тут. Он, видно замученный пирушкой или делом, сидел на свернутой постеле и дремал. Из залы вели две двери: одна прямо в бывшую гостиную, другая направо в кабинет. Из первой двери слышались голоса разговаривающих по-немецки и изредка по-французски. Там, в бывшей гостиной, были собраны по желанию государя не военный совет (государь любил неопределенность), но некоторые лица, которых мнения, в предстоящих затруднениях, он желал знать. Это не был военный совет, но как бы совет избранных для уяснения некоторых вопросов лично для государя. На этот полусовет были приглашены: шведский генерал Армфельд, генерал-адъ-

---

<sup>37</sup> верхом совершенства

ютант Вольцоген, Винцингероде, которого Наполеон называл беглым французским подданным, Мишо, Толь, вовсе не военный человек – граф Штейн, и наконец сам Пфуль, который, как слышал князь Андрей, был *la cheville ouvrière*<sup>38</sup> всего дела. Князь Андрей имел случай хорошо рассмотреть его, так как Пфуль вскоре после него приехал и прошел в гостиную, остановившись на минуту поговорить с Чернышевым.

Пфуль с первого взгляда, в своем русском, генеральском, дурно сшитом мундире, который нескладно, как на наряженном, сидел на нем, показался князю Андрею как будто знакомым, хотя он никогда не видал его. В нем был и Вейротер, и Мак, и Шмидт, и много других немецких теоретиков-генералов, которых князю Андрею удалось видеть в 1805-м году; но он был типичнее всех их. Такого немца-теоретика, соединявшего в себе всё, что было в тех немцах, еще не видал никогда князь Андрей.

Пфуль был невысок ростом, очень худ, но ширококост, грубого, здорового сложения, с широким тазом и костлявыми лопатками. Лицо у него было очень морщинисто, с грубо-вставленными глазами. Волоса его спереди у висков очевидно торопливо были приглажены щеткой, сзади же наивно торчали кисточками. Он, беспокойно и сердито оглядываясь, вошел в комнату, как будто он всего боялся в большой комнате, куда он вошел. Он неловким движением, придерживая шпагу, обратился к Чернышеву, спрашивая по-немецки, где государь. Ему, видно было, как можно скорее хотелось пройти комнаты, окончить поклоны и приветствия и сесть за дело перед картой, где он чувствовал себя на месте. Он поспешно кивал головой на слова Чернышева и иронически улыбался, слушая его слова о том, что государь осматривает укрепления, которые он, сам Пфуль, заложил по своей теории. Он что-то басисто и круто, как говорят самоуверенные немцы, проворчал про себя: *Dummkopf... или: zu Grunde die ganze Geschichte... или: s'wird was gescheites d'raus werden...*<sup>39</sup> Князь Андрей не расслышал и хотел пройти, но Чернышев познакомил князя Андрея с Пфулем, заметив, что князь Андрей приехал из Турции, где так счастливо кончена война. Пфуль чуть взглянул не столько на князя Андрея, сколько через него, и проговорил смеясь: «*da muss ein schöner tactischer Krieg gewesen sein*».<sup>40</sup> – И, засмеявшись презрительно, прошел в комнату, из которой слышались голоса.

Видно Пфуль, уже всегда готовый на ироническое раздражение, нынче был особенно возбужден тем, что осмелились без него осматривать его лагерь и судить о нем. Князь Андрей по одному короткому этому свиданию с Пфулем, благодаря своим Аустерлицким воспоминаниям, составил себе ясную характеристику этого человека. Пфуль был один из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных людей, которыми только бывают немцы, и потому именно, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи – науки, т. е. мнимого знания совершенной истины. Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом так и телом, непреодолимо-обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего государства в мире и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает что всё, что он делает как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь. Немец самоуверен хуже всех, и тверже всех и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина. – Таков очевидно был Пфуль. У него была наука – теория облического движения, выведенная им из истории войн Фридриха Великого, и всё, что встречалось ему в новейшей военной истории, казалось ему бессмыслицей, варварством, безобразным столкновением, в

<sup>38</sup> основой

<sup>39</sup> глупости... к чорту всё дело...

<sup>40</sup> «то-то, должно быть, правильно-тактическая была война».

котором с обеих сторон было сделано столько ошибок, что войны эти не могли быть названы войнами: они не подходили под теорию и не могли служить предметом науки.

В 1806 году Пфуль был один из составителей плана войны, кончившейся Иеной и Ауерштетом; но в исходе этой войны он не видел ни малейшего доказательства неправильности своей теории. Напротив, сделанные отступления от его теории были, по его понятиям, единственной причиной всей неудачи, и он с свойственной ему радостною иронией говорил: *Ich sagte ja dass die ganze Geschichte zum Teufel gehen werde.*<sup>41</sup> Пфуль был один из тех теоретиков, которые так любят свою теорию, что забывают цель теории – приложение ее к практике; он из любви к теории ненавидел всякую практику и знать ее не хотел. Он даже радовался неумехе, потому что неумехе, происходивший от отступления в практике от теории, доказывал ему только справедливость его теории.

Он сказал несколько слов с князем Андреем и Чернышевым о настоящей войне с выражением человека, который знает вперед, что всё будет скверно, и что он даже не недоволен этим. Торчавшие на затылке непричесанные кисточки волос и торопливо-причесанные височки особенно красноречиво говорили это.

Он прошел в другую комнату, и оттуда тотчас же послышались басистые и ворчливые звуки его голоса.

## XI.

Не успел князь Андрей проводить глазами Пфуля, как в комнату поспешно вошел граф Бенигсен и, кивнув головой Болконскому, не останавливаясь, прошел в кабинет, отдавая какие-то приказания своему адъютанту. Государь ехал за ним, и Бенигсен поспешил вперед, чтобы приготовить кое-что и успеть встретить государя. Чернышев и князь Андрей вышли на крыльцо. Государь с усталым видом слезал с лошади. Маркиз Паулучи что-то говорил государю. Государь, склонив голову налево, с недовольным видом, слушал Паулучи, говорившего с особенным жаром. Государь тронулся вперед, видимо желая окончить разговор, но покрасневший, взволнованный итальянец, забывая приличия, шел за ним, продолжая говорить:

– *Quant à celui qui a conseillé ce camp, le camp de Drissa,* – говорил Паулучи, в то время как государь, входя на ступеньки и заметив князя Андрея, вглядывался в незнакомое ему лицо.

– *Quant à celui, Sire,* – продолжал Паулучи с отчаянностью, как будто не в силах удержаться, – *qui a conseillé le camp de Drissa, je ne vois pas d'autre alternative que la maison jaune ou le gibet.*<sup>42</sup> Не дослушав и как будто не слышав слов итальянца, государь, узнав Болконского, милостиво обратился к нему.

– Очень рад тебя видеть, пройди туда, где они собрались, и подожди меня. – Государь прошел в кабинет. За ним прошел князь Петр Михайлович Волконский, барон Штейн, и за ними затворились двери. Князь Андрей, пользуясь разрешением государя, прошел с Паулучи, которого он знал по Турции, в гостиную, где собрался совет.

Князь Петр Михайлович Волконский занимал должность как бы начальника штаба государя. Волконский вышел из кабинета и принес в гостиную карты и расположив их на столе, передал вопросы, на которые он желал слышать мнение собравших господ. Дело было в том, что в ночь было получено известие (впоследствии оказавшееся ложным) о движении французов в обход Дрисского лагеря.

Первый начал говорить генерал Армфельд, неожиданно, во избежание представившегося затруднения предложив совершенно новую, ничем (кроме как желанием показать, что он тоже

<sup>41</sup> Ведь я же говорил, что всё дело пойдёт к чорту.

<sup>42</sup> Что же касается того, кто присоветовал Дрисский лагерь, что же касается, государь, до того человека, который присоветовал лагерь при Дриссе, то для него, по моему мнению, есть только два места: желтый дом или виселица.

может иметь мнение) необъяснимую позицию в стороне от Петербургской и Московской дорог, на которой, по его мнению, армия должна была соединившись ожидать неприятеля. Видно было, что этот план давно был составлен Армфельдом, и что он теперь изложил его не столько с целью отвечать на предлагаемые вопросы, на которые план этот не отвечал, сколько с целью воспользоваться случаем высказать его. Это было одно из миллионов предложений, которые так же основательно как и другие можно было делать, не имея понятия о том, какой характер примет война. Некоторые оспаривали его мнение, некоторые защищали его. Молодой полковник Толь горячее других оспаривал мнение шведского генерала и, во время спора, достал из бокового кармана исписанную тетрадь, которую он попросил позволение прочесть. Вностранно-составленной записке Толь предлагал другой – совершенно противный и плану Армфельда и плану Пфуля – план кампании. Паулучи, возражая Толю, предложил план движения вперед и атаки, которая одна по его словам могла вывести нас из неизвестности и западни (как он называл Дрисский лагерь), в которой мы находились. Во время этих споров Пфуль и его переводчик Вольцоген (его мост в придворном отношении) молчали. Пфуль только презрительно фыркал и отворачивался, показывая, что он никогда не унижится до возражения против того вздора, который он теперь слышит. Но когда князь Волконский, руководивший прениями, вызвал его на изложение своего мнения, он только сказал:

– Чтó же меня спрашивать? Генерал Армфельд предложил прекрасную позицию с открытым тылом. Или атака von diesem Italienischen Herrn, sehr schön.<sup>43</sup> Или отступление. Auch gut.<sup>44</sup> Чтó ж меня спрашивать? – сказал он. – Ведь вы сами знаете всё лучше меня. – Но когда Волконский нахмурившись сказал, что он спрашивает его мнения от имени государя, то Пфуль встал и вдруг одушевившись начал говорить:

– Всё испортили, всё спутали, все хотели знать лучше меня, а теперь пришли ко мне. Как поправить? Нечего поправлять. Надо исполнять в точности по основаниям, изложенным мною, – говорил он, стуча костлявыми пальцами по столу. – В чем затруднение? Вздор, Kinderspiel.<sup>45</sup> – Он подошел к карте и стал быстро говорить, тыкая сухим пальцем по карте и доказывая, что никакая случайность не может изменить целесообразности Дрисского лагеря, что всё предвидено, и что ежели неприятель действительно пойдет в обход, то неприятель должен быть неминуемо уничтожен.

Паулучи, не знавший по-немецки, стал спрашивать его по-французски. Вольцоген подошел на помощь своему принципалу, плохо говорившему по-французски, и стал переводить его слова, едва поспевая за Пфулем, который быстро доказывал, что всё, всё, не только то, чтó случилось, но всё, чтó только могло случиться, всё было предвидено в его плане, и что ежели теперь были затруднения, то вся вина была только в том, что не в точности всё исполнено. Он беспрестанно иронически смеялся, доказывал и наконец презрительно бросил доказывать, как бросает математик поверять различными способами раз доказанную верность задачи. Вольцоген заменил его, продолжая излагать по-французски его мысли и изредка говоря Пфулю: «nichts wahr, Excellence?»<sup>46</sup> Пфуль, как в бою разгоряченный человек бьет по своим, сердито кричал и на Вольцогена:

– Nun ja, was soll denn da noch expliziert werden?<sup>47</sup> – Паулучи и Мишо в два голоса нападали на Вольцогена по-французски. Армфельд по-немецки обращался к Пфулю. Толь по-русски объяснял, князю Волконскому. Князь Андрей молча слушал и наблюдал.

<sup>43</sup> этого итальянского господина, очень хорошо.

<sup>44</sup> Тоже хорошо.

<sup>45</sup> детские игрушки.

<sup>46</sup> не правда ли, ваше превосходительство?

<sup>47</sup> Ну да, что еще тут толковать?

Из всех этих лиц более всех возбуждал участие в князе Андрее озлобленный, решительный и бестолково-самоуверенный Пфуль. Он один из всех здесь присутствующих лиц очевидно ничего не желал для себя, ни к кому не питал вражды, а только желал одного – приведения в действие плана, составленного по теории, выведенной им годами трудов. Он был смешон, был неприятен своею ироничностью, но вместе с тем он внушал невольное уважение своею беспредельною преданностью идее. Кроме того во всех речах всех говоривших была, за исключением Пфуля, одна общая черта, которой не было на военном совете в 1805-м году – это был теперь, хотя и скрываемый, но панический страх перед гением Наполеона, страх, высказывавшийся в каждом возражении. Предполагали для Наполеона всё возможным, ждали его со всех сторон, и его страшным именем разрушали предположения друг друга. Один Пфуль, казалось, и его, Наполеона, считал таким же варваром, как и всех оппонентов своей теории. Но кроме чувства уважения, Пфуль внушал князю Андрею и чувство жалости. По тому тону, с которым с ним обращались придворные, по тому, что позволил себе сказать Паулучи императору, но главное по некоторой отчаянности выражений самого Пфуля, видно было, что другие знали, и он сам чувствовал, что падение его близко. И, несмотря на свою самоуверенность и немецкую, ворчливую ироничность, он был жалок с своими приглаженными волосами на височках и торчавшими на затылке кисточками. Он, видимо, хотя и скрывал это под видом раздражения и презрения, был в отчаянии от того, что единственный теперь случай проверить на огромном опыте и доказать всему миру верность своей теории ускользал от него.

Прения продолжались долго, и чем дольше они продолжались, тем больше разгорались споры, доходившие до криков и личностей, и тем менее было возможно вывести какое-нибудь общее заключение из всего сказанного. Князь Андрей, слушая этот разноязычный говор и эти предположения, планы и опровержения и крики, только удивлялся тому, что они все говорили. Те, давно и часто приходившие ему, во время его военной деятельности, мысли, что нет и не может быть никакой военной науки, и поэтому не может быть никакого, так называемого, военного гения, теперь получили для него совершенную очевидность истины. «Какая же могла быть теория и наука в деле, которого условия и обстоятельства неизвестны и не могут быть определены, в котором сила деятелей войны еще менее может быть определена? Никто не мог и не может знать, в каком будет положении наша и неприятельская армия через день, и никто не может знать, какая сила этого или того отряда. Иногда, когда нет труса впереди, который закричит: «мы отрезаны!» и побежит, а есть впереди веселый, смелый человек, который крикнет: «ура!» – отряд в 5 тысяч стоит 30-ти тысяч, как под Шенграбенем, а иногда 50 тысяч бегут перед 8-ю, как под Аустерлицем. – Какая же может быть наука в таком деле, в котором, как во всяком практическом деле, ничто не может быть определено, и все зависит от бесчисленных условий, значение которых определяется в одну минуту, про которую никто не знает, когда она наступит. Армфельд говорит, что наша армия отрезана, а Паулучи говорит, что мы поставили французскую армию между двух огней; Мишо говорит, что негодность Дрисского лагеря состоит в том, что река позади, а Пфуль говорит, что в этом его сила. Толь предлагает один план, Армфельд предлагает другой; и все хороши, и все дурны, и выгоды всякого предложения могут быть очевидны только в тот момент, когда совершится событие. И отчего все говорят: гений военный? Разве гений тот человек, который во-время умеет велеть подвезти сухари и итти тому направо, тому налево? Оттого только, что военные люди облечены блеском и властью и массы подлецов льстят власти, придавая ей несвойственные качества гения, их называют гениями. Напротив, лучшие генералы, которых я знал – глупые или рассеянные люди. Лучший Багратион, – сам Наполеон признал это. А сам Бонапарте! Я помню самодовольное и ограниченное его лицо на Аустерлицком поле. Не только гения и каких-нибудь особенных качеств не нужно хорошему полководцу, но напротив ему нужно отсутствие самых высших, лучших человеческих качеств – любви, поэзии, нежности, философского, пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо уверен в том, что то, что он делает, очень важно (иначе

у него не достанет терпения), и тогда только он будет храбрый полководец. Избави Бог, коли он человек, полюбит кого-нибудь, пожалеет, подумает о том, что справедливо и что нет. Понятно, что исстари еще для них подделали теорию гениев, потому что они – власть. Заслуга в успехе военного дела зависит не от них, а от того человека, который в рядах закричит: пропали, или закричит: ура! И только в этих рядах можно служить с уверенностью, что ты полезен!»

Так думал князь Андрей, слушая толки, и очнулся только тогда, когда Паулучи позвал его, и все уже расходились.

На другой день на смотре государь спросил у князя Андрея, где он желает служить, и князь Андрей навеки потерял себя в придворном мире, не попросив остаться при особе государя, а попросив позволения служить в армии.

## ХII.

Ростов перед открытием кампании получил письмо от родителей, в котором, кратко извещая его о болезни Наташи и о разрыве с князем Андреем (разрыв этот объясняли ему отказом Наташи), они опять просили его выйти в отставку и приехать домой. Николай, получив это письмо, и не попытался проситься в отпуск или отставку, а написал родителям, что очень жалеет о болезни и разрыве Наташи с ее женихом, и что он сделает всё возможное для того, чтобы исполнить их желание. Соне он писал отдельно.

«Обожаемый друг души моей», писал он. «Ничто кроме чести не могло бы удержать меня от возвращения в деревню. Но теперь, перед открытием кампании, я бы счел себя бесчестным не только перед всеми товарищами, но и перед самим собою, ежели бы я предпочел свое счастье своему долгу и любви к отечеству. Но – это последняя разлука. Верь, что тотчас после войны, ежели я буду жив и всё любим тобою, я брошу всё и прилечу к тебе, чтобы прижать тебя уже навсегда к моей пламенной груди».

Действительно только открытие кампании задержало Ростова и помешало ему приехать – как он обещал – и жениться на Соне. Отраденская осень с охотой и зима со святками и с любовью Сони открыли ему перспективу тихих дворянских радостей и спокойствия, которых он не знал прежде и которые теперь манили его к себе. «Славная жена, дети, добрая стая гончих, лихие десять-двенадцать свор борзых, хозяйство, соседи, служба по выборам!» – думал он. Но теперь была кампания, и надо было оставаться в полку. А так как это надо было, то Николай Ростов по своему характеру был доволен и тою жизнью, которую он вел в полку, и сумел сделать себе эту жизнь приятною.

Приехав из отпуска, радостно встреченный товарищами, Николай был послан за ремонтом, и из Малороссии привел отличных лошадей, которые радовали его и заслужили ему похвалы от начальства. В отсутствие его он был произведен в ротмистры, и когда полк был поставлен на военное положение с увеличенным комплектом, он опять получил свой прежний эскадрон.

Началась кампания, полк был двинут в Польшу, выдавалось двойное жалованье, прибыли новые офицеры, новые люди, лошади; и главное, распространилось то возбужденно-веселое настроение, которое сопутствует началу войны; и Ростов, сознавая свое выгодное положение в полку, весь предался удовольствиям и интересам военной службы, хотя и знал, что рано или поздно придется их покинуть.

Войска отступили от Вильны по разным сложным, государственным, политическим и тактическим причинам. Каждый шаг отступления сопровождался сложною игрой интересов, умозаключений и страстей в главном штабе. Для гусар же Павлоградского полка, весь этот отступательный поход, в лучшую пору лета, с достаточным продовольствием, был самым простым и веселым делом. Унывать, беспокоиться и интриговать могли только в главной квартире, а в глубокой армии и не спрашивали себя, куда, зачем идут. Если жалели, что отступают, то

только потому, что надо было выходить из обжитой квартиры, от хорошенькой панны. Ежели и приходило кому-нибудь в голову, что дела плохи, то, как следует хорошему военному человеку, тот, кому это приходило в голову, старался быть веселым и не думать об общем ходе дел, а думать о своем ближайшем деле. Сначала весело стояли подле Вильны, заводя знакомства с польскими помещиками и ожидая и отбывая смотры государя и других высших командиров. Потом пришел приказ отступить к Свенцянам и истреблять провиант, который нельзя было увезти. Свенцяны памятливы были гусарам только потому, что это был *пьяный лагерь*, как прозвала вся армия стоянку у Свенцяна, и потому, что в Свенцянах много было жалоб на войска за то, что они, воспользовавшись приказанием отбирать провиант, в числе провианта забирали лошадей, и экипажи, и ковры у польских панов. Ростов помнил Свенцяны потому, что он в первый день вступления в это местечко сменил вахмистра и не мог справиться с перепившимися всеми людьми эскадрона, которые без его ведома увезли пять бочек старого пива. От Свенцяна отступали дальше и дальше до Дриссы, и опять отступили от Дриссы, уже приближаясь к русским границам.

13-го июля Павлоградцам в первый раз пришлось быть в серьезном деле.

12-го июля в ночь, накануне дела, была сильная буря с дождем и градом. Лето 1812 года вообще было замечательно бурями.

Павлоградские два эскадрона стояли биваками, среди выбитого до тла скотом и лошадьми, уже выколосившегося ржаного поля. Дождь лил ливнем, и Ростов с покровительствуемым им молодым офицером Ильиным сидел под сгороженным на скорую руку шалашком. Офицер их полка с длинными усами, продолжавшимися от щек, ездивший в штаб и застигнутый дождем зашел к Ростову.

– Я, граф, из штаба. Слышали подвиг Раевского? – И офицер рассказал подробности Салтановского сражения, слышанные им в штабе.

Ростов, пожимаясь шеей, за которую затекала вода, курил трубку и слушал невнимательно, изредка поглядывая на молодого офицера Ильина, который жался около него. Офицер этот, шестнадцатилетний мальчик, недавно поступивший в полк, был теперь в отношении к Николаю тем, чем был Николай в отношении к Денисову семь лет тому назад. Ильин старался во всем подражать Ростову, и как женщина был влюблен в него.

Офицер с двойными усами, Здржинский, рассказывал напыщенно о том, как Салтановская плотина была Фермопилами русских, как на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок, достойный древности. Здржинский рассказывал поступок Раевского, который вывел на плотину своих двух сыновей под страшный огонь и с ними рядом пошел в атаку. Ростов слушал рассказ и не только ничего не говорил в подтверждение восторга Здржинского, но напротив имел вид человека, который стыдится того, что ему рассказывают, хотя и не намерен возражать. Ростов после Аустерлицкой и 1807 года кампаний знал по своему собственному опыту, что, рассказывая военные происшествия, всегда врут, как и сам он врал, рассказывая; во-вторых, он имел настолько опытности, что знал, как всё происходит на войне совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать. И потому ему не нравился рассказ Здржинского, не нравился и сам Здржинский, который, с своими усами от щек, по своей привычке низко нагибался над лицом того, кому он рассказывал и теснил его в тесном шалаше. Ростов молча смотрел на него. «Во-первых на плотине, которую атаквали, должна была быть верно такая путаница и теснота, что ежели Раевский и вывел сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на десять, которые были около самого его», думал Ростов: «остальные и не могли видеть, как и с кем шел Раевский по плотине. Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что, что им было за дело до нежных, родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной шкуре? Потом от того, что возьмут или не возьмут Салтановскую плотину, не зависела судьба отечества, как нам описывают это про Фермопилы. И стало быть, зачем же было приносить такую жертву? И потом зачем тут, на войне, мешать

своих детей? Я бы не только Петю-брата не повел бы, но и Ильина даже, этого чужого мне, но доброго мальчика, постарался бы поставить куда-нибудь под защиту», продолжал думать Ростов, слушая Здржинского. Но он не сказал своих мыслей: он и на это уже имел свой опыт. Он знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нем. Так он и делал.

– Однако, мочи нет, – сказал Ильин, замечавший, что Ростову не нравится разговор Здржинского. – И чулки, и рубашка, и под меня подтекло. Пойду искать приюта. Кажется, дождик полегче. – Ильин вышел и Здржинский уехал.

Через пять минут Ильин, шлепая по грязи, прибежал к шалашу.

– Ура! Ростов, идем скорее. Нашел! Вот тут шагов двести корчма, уж туда забрались наши. Хоть посушимся, и Марья Генриховна там.

Марья Генриховна была жена полкового доктора, молодая, хорошенькая немка, на которой доктор женился в Польше. Доктор или оттого, что не имел средств, или оттого, что не хотел первое время женитьбы разлучаться с молодой женой, возил ее везде за собой при гусарском полку, и ревность доктора сделалась обычным предметом шуток между гусарскими офицерами.

Ростов накинул плащ, крикнул за собой Лаврушку с вещами, и пошел с Ильиным, где раскатываясь по грязи, где прямо шлепая под утихавшим дождем, в темноте вечера, изредка нарушаемой далекими молниями.

– Ростов, ты где?

– Здесь. Какова молния! – переговаривались они.

### ХIII.

В корчме, перед которою стояла кибитка доктора, уже было человек пять офицеров. Марья Генриховна, полная белокурая немочка в кофточке и ночном чепчике, сидела в переднем углу на широкой лавке. Муж ее, доктор, спал позади ее. Ростов с Ильиным, встреченные веселыми восклицаниями и хохотом, вошли в комнату.

– И! да у вас какое веселье, – смеясь сказал Ростов.

– А вы что́ зеваете?

– Хороши! Так и течет с них! Гостиную нашу не замочите.

– Марьи Генриховны платье не запачкать, – отвечали голоса.

Ростов с Ильиным поспешили найти уголок, где бы они, не нарушая скромности Марьи Генриховны, могли бы переменить мокрое платье. Они пошли было за перегородку, чтобы переодеться; но в маленьком чуланчике, наполняя его весь, с одной свечкой на пустом ящике, сидели три офицера, играя в карты, и ни за что́ не хотели уступить свое место. Марья Генриховна уступила на время свою юбку, чтобы употребить ее вместо занавески, и за эту занавеской Ростов и Ильин с помощью Лаврушки, принесшего выюки, сняли мокрое и надели сухое платье.

В разломанной печке разложили огонь. Достали доску, и утвердив ее на двух седлах, покрыли попоной, достали самоварчик, погребец и полбутылки рому, и, попросив Марью Генриховну быть хозяйкой, все толпились около нее. Кто предлагал ей чистый носовой платок, чтоб обтирать прелестные ручки, кто под ножки подкладывал ей венгерку, чтобы не было сыро, кто плащом завешивал окно, чтобы не дуло, кто обмахивал мух с лица ее мужа, чтоб он не проснулся.

– Оставьте его, – говорила Марья Генриховна, робко и счастливо улыбаясь, – он и так спит хорошо после бессонной ночи.

– Нельзя, Марья Генриховна, – отвечал офицер, – надо доктору прислужиться. Всё, может быть, и он меня пожалеет, когда ногу или руку резать станет.

Стаканов было только три; вода была такая грязная, что нельзя было решить, когда крепко или некрепко чай, и в самоваре воды было только на шесть стаканов, но тем приятнее было по очереди и старшинству получать свой стакан из пухлых с короткими, совсем чистыми ногтями ручек Марьи Генриховны. Все офицеры, казалось, действительно были влюблены в этот вечер в Марью Генриховну. Даже те офицеры, которые играли за перегородкой в карты, скоро бросили игру и перешли к самовару, подчиняясь общему настроению ухаживанья за Марьей Генриховной. Марья Генриховна, видя себя окруженною такою блестящею и учтивою молодежью, сияла счастьем, как она ни старалась скрывать этого и как ни очевидно робела при каждом сонном движении спавшего за ней мужа.

Ложка была только одна, сахару было больше всего, но размешивать его не успевали, и потому было решено, что она будет поочередно мешать сахар каждому. Ростов, получив свой стакан и подлив в него рому, попросил Марью Генриховну размешать.

– Да ведь вы без сахара? – сказала она, всё улыбаясь, как будто всё, что ни говорила она и всё, что ни говорили другие, было очень смешно и имело еще другое значение.

– Да мне не сахар, мне только чтоб вы помешали своею ручкой.

Марья Генриховна согласилась и стала искать ложку, которую уже захватил кто-то.

– Вы пальчиком, Марья Генриховна, – сказал Ростов, – еще приятнее будет.

– Горячо! – сказала Марья Генриховна, краснея от удовольствия.

Ильин взял ведро с водой и, капнув туда рому, пришел к Марье Генриховне, прося помешать пальчиком.

– Это моя чашка, – говорил он. – Только вложите пальчик, всё выпью.

Когда самовар весь выпили, Ростов взял карты и предложил играть в короли с Марьей Генриховной. Кинули жребий, кому составлять партию Марьи Генриховны. Правилами игры по предложению Ростова было то, чтобы тот, кто будет королем, имел бы право поцеловать ручку Марьи Генриховны, а чтобы тот, кто останется прохвостом, шел бы ставить новый самовар для доктора, когда он проснется.

– Ну, а ежели Марья Генриховна будет королем? – спросил Ильин.

– Она и так королева! И приказания ее – закон.

Только что началась игра, как из-за Марьи Генриховны вдруг поднялась спутанная голова доктора. Он давно уже не спал и прислушивался к тому, что говорилось, и видимо не находил ничего веселого, смешного или забавного во всем, что говорилось и делалось. Лицо его было грустно и уныло. Он не поздоровался с офицерами, почесался и попросил позволения выйти, так как ему загромождали дорогу. Как только он вышел, все офицеры разразились громким хохотом, а Марья Генриховна до слез покраснела и тем сделалась еще привлекательнее на глаза всех офицеров. Вернувшись со двора, доктор сказал жене (которая перестала уже так счастливо улыбаться и, испуганно ожидая приговора, смотрела на него), что дождь прошел и что надо итти ночевать в кибитку, а то всё растащат.

– Да я вестового пошлю... двух! – сказал Ростов. – Полноте, доктор.

– Я сам стану на часы! – сказал Ильин.

– Нет, господа, вы выспались, а я две ночи не спал, – сказал доктор, и мрачно сел подле жены, ожидая окончания игры.

Глядя на мрачное лицо доктора, косившегося на свою жену, офицерам стало еще веселее, и многие не могли удержаться от смеха, которому они поспешно старались отыскивать благовидные предлоги. Когда доктор ушел, уведя свою жену и поместился с нею в кибиточку, офицеры улеглись в корчме, укрывшись мокрыми шинелями; но долго не спали, то переговариваясь, вспоминая испуг доктора и веселье докторши, то выбегая на крыльцо и сообщая о том, что делалось в кибиточке. Несколько раз Ростов, завертываясь с головой, хотел заснуть; но опять чье-нибудь замечание развлекало его, опять начинался разговор, и опять раздавался беспричинный, веселый, детский хохот.

## XIV.

В 3-м часу еще никто не заснул, как явился вахмистр с приказом выступать к местечку Островне.

Всё с тем же говором и хохотом, офицеры поспешно стали собираться; опять поставили самовар на грязной воде. Но Ростов, не дождавшись чаю, пошел к эскадрону. Уже светало; дождик перестал, тучи расходились. Было сыро и холодно, особенно в непросохшем платье. Выходя из корчмы, Ростов и Ильин оба в сумерках рассвета заглянули в глянцевою от дождя, кожаную докторскую кибитку, из под фартука которой торчали ноги доктора и в середине которой виднелся на подушке чепчик докторши и слышалось сонное дыхание.

– Право, она очень мила! – сказал Ростов Ильину, выходявшему с ним.

– Прелесть какая женщина! – с шестнадцатилетнею серьезностью отвечал Ильин.

Через полчаса выстроенный эскадрон стоял на дороге. Послышалась команда: «садись!» – солдаты перекрестились и стали садиться. Ростов, выехав вперед, скомандовал: «марш!» и, вытянувшись в четыре человека, гусары, звуча шлепаньем копыт по мокрой дороге, брэнчаньем сабель и тихим говором, тронулись по большой, обсаженной березами дороге, вслед за шедшею впереди пехотой и батареей.

Разорванные сине-лиловые тучи, краснея на восходе, быстро гнались ветром. Становилось всё светлее и светлее. Ясно виднелась та курчавая травка, которая засекает всегда по проселочным дорогам, еще мокрая от вчерашнего дождя; висячие ветви берез, тоже мокрые, качались от ветра и роняли в бок от себя светлые капли. Яснее и яснее обозначались лица солдат. Ростов ехал с Ильиным, не отстававшим от него, стороной дороги, между двойным рядом берез.

Ростов в кампании позволял себе вольность ездить не на фронтовой лошади, а на казацкой. И знаток, и охотник, он недавно достал себе лихую донскую, крупную и добрую игреневою лошадь, на которой никто не обскакивал его. Ехать на этой лошади было для Ростова наслаждение. Он думал о лошади, об утре, о докторше, и ни разу не подумал о предстоящей опасности.

Прежде Ростов, идя в дело, боялся; теперь он не испытывал ни малейшего чувства страха. Не оттого он не боялся, что он привык к огню (к опасности нельзя привыкнуть), но оттого, что он выучился управлять своею душою перед опасностью. Он привык, идя в дело, думать обо всем, исключая того, что казалось было бы интереснее всего другого – о предстоящей опасности. Сколько он ни старался, ни упрекал себя в трусости первое время своей службы, он не мог этого достигнуть; но с годами теперь это сделалось само собою. Он ехал теперь рядом с Ильиным между березами, изредка отрывая листья с веток, которые попадались под руку, иногда дотрогиваясь ногой до паха лошади, иногда отдавая не поворачиваясь докуренную трубку ехавшему сзади гусару, с таким спокойным и беззаботным видом, как будто он ехал кататься. Ему жалко было смотреть на взволнованное лицо Ильина, много и беспокойно говорившего; он по опыту знал то мучительное состояние ожидания страха и смерти, в котором находился корнет, и знал, что ничто кроме времени не поможет ему.

Только что солнце показалось на чистой полосе из-под тучи, как ветер стих, как будто он не смел портить этого прелестного после грозы летнего утра; капли еще падали, но уже отвесно, – и всё затихло. Солнце вышло совсем, показалось на горизонте и исчезло в узкой и длинной туче, стоявшей над ним. Через несколько минут солнце еще светлее показалось на верхнем крае тучи, разрывая ее края. Всё засветилось и заблестело. И вместе с этим светом, как будто отвечая ему, раздались впереди выстрелы орудий.

Не успел еще Ростов обдумать и определить, как далеки эти выстрелы, как от Витебска прискакал адъютант графа Остермана-Толстого с приказанием итти на рысях по дороге.

Эскадрон объехал пехоту и батарею, также торопившуюся итти скорее, спустился под гору и, пройдя через какую-то пустую без жителей деревню, опять поднялся на гору. Лошади стали взмыливаться, люди раскраснелись.

– Стой, равняйся! – послышалась впереди команда дивизионера.

– Левое плечо вперед, шагом марш! – скомандовали впереди.

И гусары по линии войск прошли на левый фланг позиции и стали позади наших улан, стоявших в первой линии. Справа стояла наша пехота густою колонной, – это были резервы; повыше ее на горе видны были на чистом, чистом воздухе, в утреннем, косом и ярком освещении, на самом горизонте, наши пушки. Впереди за ложиной видны были неприятельские колонны и пушки. В лощине слышна была наша цепь, уже вступившая в дело и весело перещелкивающаяся с неприятелем.

Ростову, как от звуков самой веселой музыки, стало весело на душе от этих звуков, давно уже неслышанных. Трап-та-та-тап! хлопали то вдруг, то быстро один за другим, несколько выстрелов. Опять замолкало всё, и опять как будто трескались хлопушки, по которым ходил кто-то.

Гусары простояли около часу на одном месте. Началась и канонада. Граф Остерман с свитой проехал сзади эскадрона, остановившись поговорил с командиром полка и отъехал к пушкам на гору.

Вслед за отъездом Остермана, у улан послышалась команда:

– В колонну, к атаке стройся! – Пехота впереди их вздвоила взводы, чтобы пропустить кавалерию. Уланы тронулись, колеблясь флюгерами пик, и на рысях пошли под гору на французскую кавалерию, показавшуюся под горой влево.

Как только уланы сошли под гору, гусарам велено было подвинуться в гору, в прикрытие к батарее. В то время как гусары становились на место улан, из цепи пролетели, визжа и свистя, далекие, не попадавшие пули.

Давно неслышанный этот звук еще радостнее и возбуждательнее подействовал на Ростова, чем прежние звуки стрельбы. Он, выпрямившись, разглядывал поле сражения, открывавшееся с горы, и всею душой участвовал в движении улан. Уланы близко налетели на французских драгун, что-то спуталось там в дыму, и через пять минут уланы понеслись назад не к тому месту, где они стояли, но левее. Между ранжевными уланами на рыжих лошадях и позади их, большею кучей, видны были синие французские драгуны на серых лошадях.

## XV.

Ростов своим зорким охотничьим глазом один из первых увидел этих синих французских драгун, преследующих наших улан. Ближе, ближе подвигались расстроенными толпами уланы, и французские драгуны, преследующие их. Уже можно было видеть, как эти, казавшиеся под горой маленькими, люди сталкивались, нагоняли друг друга и махали руками или саблями.

Ростов как на травлю смотрел на то, что делалось перед ним. Он чутьем чувствовал, что, ежели ударить теперь с гусарами на французских драгун, они не устоят; но ежели ударить, то надо было сейчас, сию минуту, иначе будет уже поздно. Он оглянулся вокруг себя. Ротмистр, стоя подле него, точно так же не спускал глаз с кавалерии внизу.

– Андрей Севастьяныч, – сказал Ростов, – ведь мы их сомнем...

– Лихая бы штука, – сказал ротмистр, – а в самом деле...

Ростов, не дослушав его, толкнул лошадь, выскакал вперед эскадрона и не успел он еще скомандовать движение, как весь эскадрон, испытывавший то же, что и он, тронулся за ним. Ростов сам не знал, как и почему он это сделал. Всё это он сделал, как он делал на охоте, не думая, не соображая. Он видел, что драгуны близко, что они скачут, расстроены; он знал, что они не выдержат, он знал, что была только одна минута, которая не воротится, ежели он упу-

стит ее. Пули так возбуждительно визжали и свистели вокруг него, лошадь так горячо просилась вперед, что он не мог выдержать. Он тронул лошадь, скомандовал и в то же мгновение, услышав за собой звук топота своего развернутого эскадрона, на полных рысях, стал спускаться к драгунам под гору. Едва они сошли под гору, как невольно их аллюр рыси перешел в галоп, становившийся всё быстрее и быстрее, по мере того, как они приближались к своим уланам и скакавшим за ними французским драгунам. Драгуны были близко. Передние, увидав гусар, стали поворачивать назад, задние приостанавливаться. С чувством, с которым он несся наперерез волку, Ростов, выпустив во весь мах своего донца, скакал наперерез расстроенным рядам французских драгун. Один улан остановился, один пеший припал к земле, чтоб его не раздавили, одна лошадь без седока замешалась с гусарами. Почти все французские драгуны скакали назад. Ростов, выбрав себе одного из них на серой лошади, пустился за ним. По дороге он налетел на куст; добрая лошадь перенесла его через него, и, едва справясь на седле, Николай увидел, что он через несколько мгновений догонит того неприятеля, которого он выбрал своею целью. Француз этот, вероятно офицер по его мундиру, согнувшись скакал на своей серой лошади, саблей подгоняя ее. Через мгновение лошадь Ростова ударила грудью в зад лошади офицера, чуть не сбила ее с ног, и в то же мгновение Ростов, сам не зная зачем, поднял саблю и ударил ею по французу.

В то же мгновение, как он сделал это, всё оживление Ростова вдруг исчезло. Офицер упал не столько от удара саблей, который только слегка разрезал ему руку выше локтя, сколько от толчка лошади и от страха. Ростов, сдержав лошадь, отыскивал глазами своего врага, чтоб увидеть, кого он победил. Драгунский французский офицер одною ногой прыгал на земле, другою зацепился в стремя. Он, испуганно шурясь, как будто ожидая всякую секунду нового удара, сморщившись, с выражением ужаса взглянул снизу вверх на Ростова. Лицо его, бледное и забрызганное грязью, белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами, было самое не для поля сражения, не вражеское лицо, а самое простое комматное лицо. Еще прежде, чем Ростов решил, что он с ним будет делать, офицер закричал: *je me rends!*<sup>48</sup> Он, торопясь, хотел и не мог выпутать из стремени ногу и, не спуская испуганных голубых глаз, смотрел на Ростова. Подскочившие гусары выпростили ему ногу и посадили его на седло. Гусары с разных сторон возились с драгунами: один был ранен, но, с лицом в крови, не давал своей лошади; другой, обняв гусара, сидел на крупе его лошади; третий взлезал, поддерживаемый гусаром, на его лошадь. Впереди бежала, стреляя, французская пехота. Гусары торопливо поскакали назад с своими пленными. Ростов скакал назад с другими, испытывая какое-то неприятное чувство, сжимавшее ему сердце. Что-то неясное, запутанное, чего он никак не мог объяснить себе, открылось ему взятием в плен этого офицера и тем ударом, который он нанес ему.

Граф Остерман-Толстой встретил возвращавшихся гусар, подозвал Ростова, благодарил его и сказал, что он представит государю о его молодецком поступке и будет просить для него Георгиевский крест. Когда Ростова потребовали к графу Остерману, он, вспомнив о том, что атака его была начата без приказанья, был вполне убежден, что начальник требует его для того, чтобы наказать его за самовольный поступок. Поэтому лестные слова Остермана и обещание награды должны бы были тем радостнее поразить Ростова; но всё то же неприятное, неясное чувство нравственно тошнило ему. «Да что бишь меня мучает?», спросил он себя, отъезжая от генерала. «Ильин? Нет, он цел. Осрамился я чем-нибудь? Нет, всё не то!» Что-то другое мучило его, как раскаяние. «Да, да, этот французский офицер с дырочкой. И я хорошо помню, как рука моя остановилась, когда я поднял ее».

Ростов увидел отвозимых пленных и поскакал за ними, чтобы посмотреть своего французца с дырочкой на подбородке. Он в своем странном мундире сидел на заводной гусарской

<sup>48</sup> сдаюсь!

лошади и беспокойно оглядывался вокруг себя. Рана его на руке была почти не рана. Он притворно улыбнулся Ростову и помахал ему рукой, в виде приветствия. Ростову всё так же было неловко и чего-то совестно.

Весь этот и следующий день, друзья и товарищи Ростова замечали, что он не скучен, не сердит, но молчалив, задумчив и сосредоточен. Он неохотно пил, старался оставаться один, и о чем-то думал.

Ростов всё думал об этом своем блестящем подвиге, который, к удивлению его, приобрел ему Георгиевский крест и даже сделал ему репутацию храбреца, и никак не мог понять чего-то. «Так они еще больше нашего боятся!», думал он. «Так только-то и есть всего то, что называется героизмом? И разве я это делал для отечества? И в чем он виноват с своею дырочкой и голубыми глазами? А как он испугался! Он думал, что я убью его. За что ж мне убивать его? У меня рука дрогнула. А мне дали Георгиевский крест. Ничего, ничего не понимаю!»

По пока Николай перерабатывал в себе эти вопросы и всё-таки не дал себе ясного отчета в том, что так смутило его, колесо счастья по службе, как это часто бывает, повернулось в его пользу. Его выдвинули вперед после Островненского дела, дали ему батальон гусаров, и, когда нужно было употребить храброго офицера, давали ему поручения.

## XVI.

Получив известие о болезни Наташи, графиня, еще не совсем здоровая и слабая, с Петей и со всем домом, приехала в Москву, и всё семейство Ростовых перебралось от Марьи Дмитриевны в свой дом и совсем поселилось в Москве.

Болезнь Наташи была так серьезна, что, к счастью ее и к счастью родных, мысль о всем том, что было причиной ее болезни, ее поступок и разрыв с женихом перешли на второй план. Она была так больна, что нельзя было думать о том, на сколько она была виновата во всем случившемся, тогда как она не ела, не спала, заметно худела, кашляла и была, как давали чувствовать докторам, в опасности. Надо было думать только о том, чтобы помочь ей. Доктора ездили к Наташе и отдельно, и консилиумами, говорили много по-французски, и по-немецки, и по-латыни, осуждали один другого, прописывали самые разнообразные лекарства от всех им известных болезней; но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которою страдала Наташа, как не может быть известна ни одна болезнь, которою одержим живой человек: ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую, сложную, неизвестную медицине болезнь, не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов и т. д., записанную в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений страданий этих органов. Эта простая мысль не могла приходить докторам (так же как не может притти колдуну в голову мысль, что он не может колдовать), потому что их дело жизни состояло в том, чтобы лечить, потому что за то они получали деньги и потому что на это дело они потратили лучшие года своей жизни. Но главное – мысль эта не могла притти докторам, потому что они видели, что они несомненно полезны, и были действительно полезны для всех домашних Ростовых. Они были полезны не потому, что заставляли проглатывать больную большею частью вредные вещества (вред этот был мало чувствителен, потому что вредные вещества давались в малом количестве), но они полезны, необходимы, неизбежны были (причина – почему всегда есть и будут мнимые излечители, ворожеи, гомеопаты), потому что они удовлетворяли нравственной потребности больной и людей, любящих больную. Они удовлетворяли той вечной человеческой потребности надежды на облегчение, потребности сочувствия и деятельности, которые испытывает человек во время страдания. Они удовлетворяли той вечной, человеческой – в ребенке заметной в самой первобытной форме – потребности потерять то место, которое ушибено. Ребенок убьется и тотчас же бежит в руки матери, няньки, для того чтоб ему поцеловали и потеряли больное место, и ему делается

легче, когда больное место потрут или поцелуют. Ребенок не верит, чтоб у сильнейших и мудрейших его не было средства помочь его боли. И надежда на облегчение, и выражение сочувствия в то время, как мать трет его шишку, утешают его. Доктора для Наташи были полезны тем, что они целовали и терли *бобо*, уверяя, что сейчас пройдет, ежели кучер съездит в Арбатскую аптеку и возьмет на рубль семь гривен порошков и пилюль в хорошенькой коробочке, и ежели порошки эти, непременно через два часа, никак не больше и не меньше, будет в отварной воде принимать больная.

Что́ же бы делали Соня, граф и графиня, как бы они смотрели, ничего не предпринимая, ежели бы не было этих пилюль по часам, питья тепленького, куриной котлетки и всех подробностей жизни, предписанных доктором, соблюдать которые составляло занятие и утешение для окружающих? Как бы переносил граф болезнь своей любимой дочери, ежели бы он не знал, что ему стоила тысячи рублей болезнь Наташи, и что он не жалеет еще тысяч, чтобы сделать ей пользу; ежели бы он не знал, что ежели она не поправится, он не пожалеет еще тысяч и повезет ее за границу и там сделает консилиумы; ежели бы он не имел возможности рассказывать подробности о том, как Метивье и Феллер не поняли, а Фриз понял, и Мудров еще лучше определил болезнь? Что́ бы делала графиня, ежели бы она не могла иногда ссориться с больною Наташей за то, что она не вполне соблюдала предписаний доктора?

– Этак никогда не выздоровеешь, – говорила она, под досадой забывая свое горе, – ежели ты не будешь слушаться доктора и не вь-время принимать лекарство! Ведь нельзя шутить этим, когда у тебя может сделаться пневмония, – говорила графиня, и в произношении этого непонятного не для нее одной слова она уже находила большое утешение. Что́ бы делала Соня, ежели бы у ней не было радостного сознания того, что она первое время не раздевалась три ночи для того, чтобы быть наготове исполнять в точности все предписания доктора, и что она теперь не спит ночи, для того чтобы не пропустить часы, в которые надо давать маловредные пилюли из золотой коробочки? Даже самой Наташе, которая, хотя и говорила, что никакие лекарства не вылечат ее, и что всё это глупости, и ей было радостно видеть, что для нее делали так много пожертвований, что ей надо было в известные часы принимать лекарства. И даже ей радостно было то, что она, пренебрегая исполнением предписанного, могла показывать, что она не верит в лечение и не дорожит своею жизнью.

Доктор ездил каждый день, щупал пульс, смотрел язык и, не обращая внимания на ее убитое лицо, шутил с нею. Но за то, когда он выходил в другую комнату, графиня поспешно выходила за ним, и он, принимая серьезный вид и покачивая задумчиво головой, говорил, что хотя и есть опасность, он надеется на действие этого последнего лекарства, и что надо ждать и посмотреть; что болезнь больше нравственная, но...

Графиня, стараясь скрыть этот поступок от себя и от доктора, всовывала ему в руку золотой и всякий раз с успокоенным сердцем возвращалась к больной.

Признаки болезни Наташи состояли в том, что она мало ела, мало спала, кашляла и никогда не оживлялась. Доктора говорили, что больную нельзя оставлять без медицинской помощи, и поэтому в душном воздухе держали ее в городе. И лето 1812-го года Ростовы не уезжали в деревню.

Несмотря на большое количество проглоченных пилюль, капель и порошков из баночек и коробочек, из которых *madame Schoss*, охотница до этих вещиц, собрала большую коллекцию, несмотря на отсутствие привычной деревенской жизни, молодость брала свое: горе Наташи начало покрываться слоем впечатлений прожитой жизни, оно перестало такую мучительную болью лежать ей на сердце, начинало становиться прошедшим, и Наташа стала физически оправляться.

## XVII.

Наташа была спокойнее, но не веселее. Она не только избегала всех внешних условий радости: балов, катанья, концертов, театра; но она ни разу не смеялась так, чтобы из-за смеха ее не слышны были слезы. Она не могла петь. Как только начинала она смеяться или пробовала одна сама с собой петь, слезы душили ее: слезы раскаяния, слезы воспоминаний о том невозвратном, чистом времени; слезы досады, что так, задаром, погубила она свою молодую жизнь, которая могла бы быть так счастлива. Смех и пение особенно казались ей кошунством над ее горем. О кокетстве она и не думала; ей не приходилось даже воздерживаться. Она говорила и чувствовала, что в это время все мужчины были для нее совершенно то же, что шут Настасья Ивановна. Внутренний страж твердо воспрещал ей всякую радость. Да и не было в ней всех прежних интересов жизни из того девичьего, беззаботного, полного надежд, склада жизни. Чаше и болезненнее всего она вспоминала осенние месяцы, охоту, дядюшку и святки, проведенные с Nicolas в Отрадном. Чтò бы она дала, чтобы возвратить хоть один день из того времени! Но уж это навсегда было кончено. Предчувствие не обманывало ее тогда, что то состояние свободы и открытости для всех радостей никогда уже не возвратится больше. Но жить надо было.

Ей отрадно было думать, что она не лучше, как она прежде думала, а хуже и гораздо хуже всех, всех, кто только есть на свете. Но этого мало было. Она знала это и спрашивала себя: «чтò ж дальше?» А дальше ничего не было. Не было никакой радости в жизни, а жизнь проходила. Наташа видимо старалась только никому не быть в тягость и никому не мешать, но для себя ей ничего не нужно было. Она удалялась от всех домашних, и только с братом Петей ей было легко. С ним она любила бывать больше, чем с другими: и иногда, когда бывала с ним с глазу на глаз, смеялась. Она почти не выезжала из дому и из приезжавших к ним рада была только одному человеку – Пьеру. Нельзя было нежнее, осторожнее и вместе с тем серьезнее обращаться, чем обращался с нею граф Безухов. Наташа бессознательно чувствовала эту нежность обращения и потому находила большое удовольствие в его обществе. Но она не была даже благодарна ему за его нежность. Ничто хорошее со стороны Пьера не казалось ей усилием. Пьеру, казалось, так естественно быть добрым со всеми, что не было никакой заслуги в его доброте. Иногда Наташа замечала смущение и неловкость Пьера в ее присутствии, в особенности, когда он боялся, чтобы что-нибудь в разговоре не навело Наташу на тяжелые воспоминания. Она замечала это и приписывала это его общей доброте и застенчивости, которая, по ее понятиям, такая же, как с нею, должна была быть и со всеми. После тех нечаянных слов о том, что ежели бы он был свободен, он на коленях бы просил ее руки и любви, сказанных в минуту такого сильного волнения для нее, Пьер никогда не говорил ничего о своих чувствах к Наташе; и для нее было очевидно, что те слова, тогда так утешившие ее, были сказаны, как говорят всякие бессмысленные слова, для утешения плачущего ребенка. Не оттого, что Пьер был женатый человек, но оттого, что Наташа чувствовала между собою и им в высшей степени ту силу нравственных преград – отсутствие которой она чувствовала с Курагиным – ей никогда в голову не приходило, чтоб из ее отношений с Пьером могла выйти не только любовь с ее или еще менее с его стороны, но даже и тот род нежной, признающей себя, поэтической дружбы между мужчиной и женщиной, которой она знала несколько примеров.

В конце Петровского поста Аграфена Ивановна Белова, Отрадненская соседка Ростовых, приехала в Москву поклониться московским угодникам. Она предложила Наташе говеть, и Наташа с радостью ухватилась за эту мысль. Несмотря на запрещение докторов выходить рано утром, Наташа настояла на том, чтобы говеть, и говеть не так, как говели в доме Ростовых обыкновенно, то есть отслушать на дому три службы, а чтобы говеть так, как говела Аграфена Ивановна, то есть всю неделю, не пропуская ни одной вечерни, обедни или заутрени.

Графине понравилось это усердие Наташи; она в душе своей, после безуспешного медицинского лечения, надеялась, что молитва поможет ей больше лекарств, и хотя со страхом и скрывая от доктора, но согласилась на желание Наташи и поручила ее Беловой. Аграфена Ивановна в три часа ночи приходила будить Наташу и большею частью находила ее уже не спящею. Наташа боялась проспать время заутрени. Поспешно умываясь и с смирением одеваясь в самое дурное свое платье и старенькую мантилью, содрогаясь от свежести, Наташа выходила на пустынные улицы, прозрачно освещенные утреннею зарей. По совету Аграфены Ивановны Наташа говела не в своем приходе, а в церкви, в которой, по словам набожной Беловой, был священник весьма строгой и высокой жизни. В церкви всегда было мало народа; Наташа с Беловой становились на привычное место перед иконою Божией Матери, вделанной в зад левого клироса, и новое для Наташи чувство смирения перед великим, непостижимым, охватывало ее, когда она в этот непривычный час утра, глядя на черный лик Божией Матери, освещенный и свечами, горевшими перед ним, и светом утра, падавшим из окна, слушала звуки службы, за которыми она старалась следить, понимая их. Когда она понимала их, ее личное чувство с своими оттенками присоединялось к ее молитве; когда она не понимала, ей еще сладостнее было думать, что желание понимать всё есть гордость, что понимать всего нельзя, что надо только верить и отдаваться Богу, Который в эти минуты – она чувствовала – управлял ее душою. Она крестилась, кланялась и, когда не понимала, то только, ужасаясь перед своею мерзостью, просила Бога простить ее за всё, за всё, и помиловать. Молитвы, которым она больше всего отдавалась, были молитвы раскаяния. Возвращаясь домой в ранний час утра, когда встречались только каменщики, шедшие на работу, дворники, выметавшие улицу, и в домах еще все спали, Наташа испытывала новое для нее чувство возможности исправления себя от своих пороков и возможности новой, чистой жизни и счастья.

В продолжение всей недели, в которую она вела эту жизнь, чувство это росло с каждым днем. И счастье приобщиться или сообщить, как радостно играя этим словом говорила ей Аграфена Ивановна, представлялось ей столь великим, что ей казалось, что она не доживет до этого блаженного воскресенья.

Но счастливый день наступил, и когда Наташа в это памятное для нее воскресенье, в белом кисейном платье, вернулась от причастия, она в первый раз после многих месяцев почувствовала себя спокойною и не тяготящеюся жизнью, которая ей предстояла.

Приезжавший в этот день доктор осмотрел Наташу и велел продолжать те последние порошки, которые он прописал две недели тому назад.

– Непременно продолжать утром и вечером, – сказал он, видимо сам добросовестно-довольный своим успехом. – Только, пожалуйста, аккуратнее. Будьте покойны, графиня, – сказал шутливо доктор, в мякоть руки ловко подхватывая золотой, – скоро опять запоет и зарезвится. Очень, очень ей в пользу последнее лекарство. Она очень посвежела.

Графиня посмотрела на ногти и поплевала, о веселым лицом возвращаясь в гостиную.

## XVIII.

В начале июля в Москве распространялись всё более и более тревожные слухи о ходе войны: говорили о воззвании государя к народу, о приезде самого государя из армии в Москву. И так как до 11-го июля манифест и воззвание не были получены, то о них и о положении России ходили преувеличенные слухи. Говорили, что государь уезжает потому, что армия в опасности, говорили, что Смоленск сдан, что у Наполеона миллион войска и что только чудо может спасти Россию.

11-го июля, в субботу, был получен манифест, но еще не напечатан; и Пьер, бывший у Ростовых, обещал на другой день, в воскресенье, приехать обедать и привезти манифест и воззвание, которые он достанет у графа Растопчина.

В это воскресенье Ростовы по обыкновению поехали к обедне в домовую церковь Разумовских. Был жаркий, июльский день. Уже в 10 часов, когда Ростовы выходили из кареты перед церковью, в жарком воздухе, в криках разносчиков, в ярких и светлых летних платьях толпы, в запыленных листьях деревьев бульвара, в звуках музыки и белых панталонах прошедшего на развод батальона, в громе мостовой и ярком блеске жаркого солнца, было то летнее томление, довольство и недовольство настоящим, которое особенно резко чувствуется в ясный жаркий день в городе. В церкви Разумовских была вся знать московская, все знакомые Ростовых (в этот год, как бы ожидая чего-то, очень много богатых семей, обыкновенно разъезжающихся по деревням, остались в городе). Проходя подле матери, позади ливрейного лакея, раздвигавшего толпу, Наташа услышала голос молодого человека, слишком громким шопотом говорившего о ней:

– Это Ростова, та самая.

– Как похудела, а всё-таки хороша! – Она слышала, или ей показалось, что были упомянуты имена Курагина и Болконского. Впрочем ей всегда это казалось. Ей всегда казалось, что все, глядя на нее, только и думают о том, что с ней случилось. Страдая и замирая в душе, как всегда в толпе, Наташа шла в своем лиловом, шелковом, с черными кружевами платье, так, как умеют ходить женщины, – тем спокойнее и величавее, чем больнее и стыднее у ней было на душе. Она знала и не ошибалась, что она хороша, но это теперь не радовало ее как прежде. Напротив, это мучило ее больше всего в последнее время, и в особенности в этот яркий, жаркий летний день в городе. «Еще воскресенье, еще неделя», говорила она себе, вспоминая как она была тут в то воскресенье, «и всё та же жизнь без жизни, и всё те же условия, в которых так легко бывало жить прежде. Хороша, молода, и, я знаю, что теперь добра, прежде я была дурная, а теперь я добра, я знаю», – думала она, – «а так даром, ни для кого, проходят лучшие, лучшие годы». Она стала подле матери и перекинулась с близко стоявшими знакомыми. Наташа по привычке рассмотрела туалеты дам, осудила tenue <sup>49</sup> и неприличный способ креститься рукой на малом пространстве одной близко стоявшей дамы, опять с досадой подумала о том, что про нее судят, что и она судит, и вдруг, услышав звуки службы, ужаснулась своей мерзости, ужаснулась тому, что прежняя чистота опять потеряна ею.

Благообразный, чистый старичок служил с тою кроткою торжественностью, которая так величаво, успокоительно действует на души молящихся. Царские двери затворились, медленно задернулась завеса, таинственный, тихий голос произнес что-то оттуда. Непонятные для нее самой слезы стояли в груди Наташи, и радостное и томительное чувство волновало ее.

«Научи меня, что мне делать, как мне быть с моей жизнью, как мне исправиться навсегда, навсегда!...» думала она.

Дьякон вышел на амвон, выправил, широко отставив большой палец, свои длинные волосы из-под стихаря и, положив на груди крест, громко и торжественно стал читать слова молитвы:

– «Миром Господу помолимся».

– Миром, все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братскою любовью – будем молиться», думала Наташа.

– «О свышнем мире и о спасении душ наших!»

« О мире ангелов и душ всех бестелесных существ, которые живут над нами», молилась Наташа.

Когда молились за воинство, она вспомнила брата и Денисова. Когда молились за плавающих и путешествующих, она вспомнила князя Андрея и молилась за него, и молилась за то, чтобы Бог простил ей то зло, которое она ему сделала. Когда молились за любящих нас, она молилась о своих домашних: об отце, матери, Соне, в первый раз теперь понимая всю свою

<sup>49</sup> манеру держаться

вину перед ними и чувствуя всю силу своей любви к ним. Когда молились о ненавидящих нас, она придумала себе врагов и ненавидящих для того, чтобы молиться за них. Она причисляла к врагам кредиторов и всех тех, которые имели дело с ее отцом, и всякий раз, при мысли о врагах и ненавидящих, она вспоминала Анатоля, сделавшего ей столько зла, и хотя он не был ненавидящий, она радостно молилась за него, как за врага. Только на молитве она чувствовала себя в силах ясно и спокойно вспоминать и о князе Андрее и об Анатоле, как о людях, к которым чувства ее уничтожались в сравнении с ее чувством страха и благоговения к Богу. Когда молились за царскую фамилию и за синод, она особенно низко кланялась и крестилась, говоря себе, что ежели она не понимает, она не может сомневаться, и всё-таки любит правительствующий синод и молится за него.

Окончив ектенью, дьякон перекрестил вокруг груди орарь и произнес:

– «Сами себя и живот наш Христу Богу предадим».

«Сами себя Богу предадим» повторила в своей душе Наташа. «Боже мой, предаю себя Твоей воле», думала она. «Ничего не хочу, не желаю; научи меня, что мне делать, как употребить свою волю! Да возьми же меня, возьми меня!» с умиленным нетерпением в душе говорила Наташа, не крестясь, опустив свои тонкие руки и как будто ожидая, что вот-вот невидимая сила возьмет ее и избавит от себя, от своих сожалений, желаний, укоров, надежд и пороков.

Графиня несколько раз во время службы оглядывалась на умиленное, с блестящими глазами, лицо своей дочери и молилась Богу о том, чтоб Он помог ей.

Неожиданно, в середине и не в порядке службы, который Наташа хорошо знала, дьячек вынес скамеечку, ту самую, на которой читались коленопреклонные молитвы в Троицын день, и поставил ее перед царскими дверьми. Священник вышел в своей лиловой, бархатной скуфье, оправил волосы и с усилием стал на колена. Все сделали то же, и с недоумением смотрели друг на друга. Это была молитва, только что полученная из Синода, молитва о спасении России от вражеского нашествия.

– «Господи Боже сил. Боже спасения нашего» – начал священник тем ясным, ненапыщенным и кротким голосом, которым читают только одни духовные славянские чтецы, и который так неотразимо действует на русское сердце.

«Господи Боже сил. Боже спасения нашего! Призри ныне в милостях и щедротах на смиренныя люди Твоя, и человеколюбно услыши, и пощади, и помилуй нас. Се враг смущаяя землю Твою и хотяй положити вселенную всю пусту, восста на ны: се люди беззаконнии собрашася, еже погубити достояние Твое, разорити честный Иерусалим Твой, возлюбленную Твою Россию: осквернити храмы Твои, раскопати алтари и поругатися Святыне нашей. Доколе. Господи, доколе грешницы восхвалятся? Доколе употребити имать законопреступный власть?»

«Владыко Господи! Услыши нас молящихся Тебе: укрепи силою Твоею благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя нашего императора Александра Павловича; помяни правду Его и кротость, воздаждь Ему по благодати Его, ею же хранит ны, Твой возлюбленный Израиль. Благослови Его советы, начинания и дела; утверди всемогущею Твоею десницею царство Его, и подаждь Ему победу на врага: яко же Моисею на Амалика, Гедееону на Мадиама и Давиду на Голиафа. Сохрани воинство Его, положи лук медян мышцам во имя Твое ополчившихся, и препояши их силою на брань. Приими оружие и щит, и восстани в помощь нашу, да постыдятся и посрамятся мыслящие нам злая, да будут пред лицом верного Ти воинства, яко прах пред лицом ветра, и Ангел Твой сильный да будет оскорбляяй и погоняяй их; да приидет им сеть, юже не сведают, и их ловитва, юже сокрыша, да обымет их; да падут пред ногами рабов Твоих и в поправление воем нашим да будут. Господи! Не изнеможет у Тебе спасти во многих и в малых; Ты еси Бог, да не противозоужет противу Тебе человек.

«Боже отец наших! Помяни щедроты Твоя и милости яже от века суть; не отвержи нас от лица Твоего, ниже возгнушайся недостойнством нашим, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, презри беззакония и грехи наша. Сердце чисто созижди в нас, и

дух прав обнови во утробе нашей; всех нас укрепи верою в Тя, утверди надеждою, одушеви истинною друг к другу любовью, вооружи единодушием на праведное защищение одержания еже дал еси нам и отцем нашим, да не вознесется жезл нечестивых на жребий освященных.

«Господи Боже наш, в Него же веруем и на Него же уповаем. не посрами нас от чаяния милости Твоя, и сотвори знамение во благо, яко да видят ненавидящие нас и православную веру нашу, и посрамятся и погибнут; и да увидят все страны, яко имя Тебе Господь, и мы люди Твои. Яви нам, Господи, ныне милость Твою и спасение Твое даждь нам; возвесели сердце рабов Твоих о милости Твоей; порази враги наши, и сокруши их под ноги верных Твоих вскоре. Ты бо еси заступление, помощь и победа уповающих на Тя, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

В том состоянии раскрытости душевной, в котором находилась Наташа, эта молитва сильно подействовала на нее. Она слушала каждое слово о победе Моисея на Амалика, и Гедсона на Мадиама, и Давида на Голиафа, и о разорении Иерусалима Твоего, и просила Бога с тою нежностью и размягченностью, которою было переполнено ее сердце; но не понимала хорошенько . о чем она просила Бога в этой молитве. Она всею душой участвовала в прощении о духе правом, об укреплении сердца верою, надеждою и о воодушевлении их любовью. Но она не могла молиться о попрании под ноги врагов своих, когда она за несколько минут перед этим только желала иметь их больше, чтобы любить их, молиться за них. Но она тоже не могла сомневаться в правоте читаемой коленопреклонной молитвы. Она ощущала в душе своей благоговейный и трепетный ужас пред наказанием, постигшим людей за их грехи и в особенности за свои грехи, и просила Бога о том, чтоб Он простил их всех и ее, и дал бы им всем и ей спокойствия и счастья в жизни.

И ей казалось, что Бог слышит ее молитву.

## XIX.

С того дня как Пьер, уезжая от Ростовых и вспоминая благодарный взгляд Наташи, смотрел на комету, стоявшую на небе, и почувствовал, что для него открылось что-то новое, — вечно мучивший его вопрос о тщете и безумности всего земного перестал представляться ему. Этот страшный вопрос: зачем? к чему? который прежде представлялся ему в середине всякого занятия, теперь заменился для него не другим вопросом и не ответом на прежний вопрос, а представлением *ее*. Слышал ли он или сам вел ничтожные разговоры, читал ли он или узнавал про подлость и бессмысленность людскую, он не ужасался как прежде: не спрашивал себя из чего хлопчут люди, когда всё так кратко и неизвестно, но вспоминал *ее* в том виде, в котором он видел *ее* последний раз, и все сомнения его исчезали, не потому, что она отвечала на вопросы, которые представлялись ему, но потому, что представление о ней переносило его мгновенно в другую, светлую область душевной деятельности, в которой не могло быть правого или виноватого, в область красоты и любви, для которой стоило жить. Какая бы мерзость житейская ни представлялась ему, он говорил себе:

«Ну и пускай такой-то обокрал государство и царя, а государство и царь воздают ему почести; а она вчера улыбнулась мне и просила приехать, и я люблю *ее*, и никто никогда не узнает этого», думал он.

Пьер всё так же ездил в общество, так же много пил и вел ту же праздную и рассеянную жизнь, потому что кроме тех часов, которые он проводил у Ростовых, надо было проводить и остальное время, и привычки и знакомства, сделанные им в Москве, непреодолимо влекли его к той жизни, которая захватила его. Но в последнее время, когда с театра войны приходили всё более и более тревожные слухи, и когда здоровье Наташи стало поправляться, и она перестала возбуждать в нем прежнее чувство бережливой жалости, им стало овладевать более и более непонятное для него беспокойство. Он чувствовал, что то положение, в котором он находился,

не могло продолжаться долго, что наступает катастрофа, долженствующая изменить всю его жизнь, и с нетерпением отыскивал во всем признаки этой приближающейся катастрофы. Пьеру было открыто одним из братьев-масонов, следующее, выведенное из Апокалипсиса Иоанна Богослова, пророчество относительно Наполеона.

В Апокалипсисе, главе тринадцатой, стихе восемнадцатом сказано: «Зде мудрость есть; иже имать ум да сочтет число зверино: число бо человеческо есть и число его шестьсот шестьдесят шесть».

И той же главы в стихе пятом: «И даны быша ему уста глаголюща велика и хульна; и дана бысть ему область творити месяц четыре-десять два».

Французские буквы, подобно еврейскому число-изображению, по которому первыми десятью буквами означаются единицы, а прочими десятки, имеют следующее значение:

a	1
b	2
c	3
d	4
e	5
f	6
g	7
h	8
i	9
k	10
l	20
m	30
n	40
o	50
p	60
q	70
r	80
s	90
t	100
u	110
v	120
w	130
x	140
y	150
z	160

Написав по этой азбуке цифрами слова L'empereur Napoléon,<sup>50</sup> выходит, что сумма этих чисел равна 666-ти, и что поэтому Наполеон есть тот зверь, о котором предсказано в Апокалипсисе. Кроме того, написав по этой же азбуке слова quarante deux,<sup>51</sup> т. е. предел, который был положен зверю глаголати велика и хульна, сумма этих чисел, изображающих quarante deux, опять равна 666-ти, из чего выходит, что предел власти Наполеона наступил в 1812-м году, в котором французскому императору минуло 42 года. Предсказание это очень поразило Пьера, и он часто задавал себе вопрос о том, что именно положит предел власти зверя, т. е. Наполеона, и, на основании тех же изображений слов цифрами и вычислениями, старался найти ответ на занимавший его вопрос. Пьер написал в ответ на этот вопрос: L'empereur Alexandre? La nation

---

<sup>50</sup> Император Наполеон

<sup>51</sup> сорок два

Russe?<sup>52</sup> Он счел буквы, но сумма цифр выходила гораздо больше или меньше 666-ти. Один раз, занимаясь этими вычислениями, он написал свое имя – Comie Pierre Besouhoff; сумма цифр тоже далеко не вышла. Он, изменив орфографию, поставил z вместо s, прибавил de, прибавил article<sup>53</sup> le и всё не получал желаемого результата. Тогда ему пришло в голову, что ежели бы ответ на искомый вопрос и заключался в его имени, то в ответе непременно была бы названа его национальность. Он написал Le Russe Besuhof<sup>54</sup> и сочтя цифры, получил 671. Только 5 было лишних; 5 означает «е», то самое «е», которое было откинута в article перед словом l'empereur. Откинув точно так же хотя и неправильно «е», Пьер получил искомый ответ l'Russe Besuhof, равное 666-ти. Открытие это взволновало его. Как, какую связью, был он соединен с тем великим событием, которое было предсказано в Апокалипсисе, он не знал; но он ни на минуту не усомнился в этой связи. Его любовь к Ростовой, Антихрист, нашествие Наполеона, комета. 666, l'empereur Napoléon и l'Russe Besuhof, все это вместе должно было созреть, разразиться и вывести его из того заколдованного, ничтожного мира московских привычек, в которых он чувствовал себя плененным, и привести его к великому подвигу и великому счастью.

—

Пьер накануне того воскресенья, в которое читали молитву, обещал Ростовым привезти им от графа Растопчина, с которым он был хорошо знаком, и воззвание к России, и последние известия из армии. Поутру, заехав к графу Растопчину, Пьер у него застал только что приехавшего курьера из армии.

Курьер был один из знакомых Пьеру московских балльных танцоров.

— Ради Бога, не можете ли вы меня облегчить. — сказал курьер: — у меня полная сумка писем к родителям.

В числе этих писем было письмо от Николая Ростова к отцу. Пьер взял это письмо. Кроме того граф Растопчин дал Пьеру воззвание государя к Москве, только что отпечатанное, последние приказы по армии и свою последнюю афишу. Просмотрев приказы по армии, Пьер нашел в одном из них между известиями о раненых, убитых и награжденных имя Николая Ростова, награжденного Георгием 4-й степени, за оказанную храбрость в Островненском деле, и в том же приказе назначение князя Андрея Болконского командиром Егерского полка. Хотя ему и не хотелось напоминать Ростовым о Болконском, но Пьер не мог воздержаться от желания порадовать их известием о награждении сына, и оставив у себя воззвание, афишу и другие приказы, с тем, чтобы самому привезти их к обеду, к Ростовым послал печатный приказ и письмо.

Разговор с графом Растопчиным, его тон озабоченности и поспешности, встреча с курьером, беззаботно рассказывавшим о том, как дурно идут дела в армии, слухи о найденных в Москве шпионах, о бумаге, ходящей по Москве, в которой сказано, что Наполеон до осени обещает быть в обеих русских столицах, разговор об ожидаемом на завтра приезде государя — всё это с новой силой возбуждало в Пьере то чувство волнения и ожидания, которое не оставляло его со времени появления кометы и в особенности с начала войны.

Пьеру давно уже приходила мысль поступить в военную службу, и он бы исполнил ее, ежели бы не мешала ему во-первых, принадлежность его к тому масонскому обществу, с которым он был связан клятвой, и которое проповедывало вечный мир и уничтожение войны, и, во-вторых, то, что ему, глядя на большое количество москвичей, надевших мундиры и проповедывающих патриотизм, было почему-то совестно предпринять такой шаг. Главная же причина, по которой он не приводил в исполнение своего намерения поступить в военную службу, состояла в том неясном представлении, что он – l'Russe Besuhof, имеющий значение звериного числа 666, что его участие в великом деле положения предела власти *зверю*, глаголящему

<sup>52</sup> [Император Александр? Русский народ?]

<sup>53</sup> [член]

<sup>54</sup> Русский Безухов,

велика и хульна, определено предвечно, и что поэтому ему не должно предпринимать ничего, и ждать того, что должно совершиться.

## XX.

У Ростовых, как и всегда по воскресениям, обедал кое-кто из близких знакомых.

Пьер приехал раньше, чтобы застать их одних.

Пьер за этот год так потолстел, что он был бы уродлив, ежели бы он не был так велик ростом, крупен членами и не был так силен, что очевидно легко носил свою толщину.

Он, пыхтя и что-то бормоча про себя, вошел на лестницу. Кучер его уже не спрашивал, дожидаться ли. Он знал, что когда граф у Ростовых, то до 12-го часу. Лакеи Ростовых радостно бросились снимать с него плащ и принимать палку и шляпу. Пьер, по привычке клубной, и палку и шляпу оставлял в передней.

Первое лицо, которое он увидел у Ростовых, была Наташа. Еще прежде чем он увидел ее, он, снимая плащ в передней, услышал ее. Она пела солфеджи в зале. Он знал, что она не пела со времени своей болезни, и потому звук ее голоса удивил и обрадовал его. Он тихо отворил дверь и увидел Наташу в ее лиловом платье, в котором она была у обедни, прохаживающуюся по комнате и поющую. Она шла задом к нему, когда он отворил дверь, но когда она круто повернулась и увидела его толстое, удивленное лицо, она покраснела и быстро подошла к нему.

— Я хочу попробовать опять петь, — сказала она. — Всё-таки это занятие, — прибавила она, как будто извиняясь.

— И прекрасно.

— Как я рада, что вы приехали! Я нынче так счастлива! — сказала она с тем прежним оживлением, которого уже давно не видел в ней Пьер. — Вы знаете, Nicolas получил Георгиевский крест. Я так горда за него.

— Как же, я прислал приказ. Ну, я вам не хочу мешать, — прибавил он, и хотел пройти в гостиную.

Наташа остановила его.

— Граф! что это дурно, что я пою? — сказала она, покраснев, но, не спуская глаз, вопросительно глядя на Пьера.

— Нет... Отчего же? Напротив... Но отчего вы меня спрашиваете?

— Я сама не знаю, — быстро отвечала Наташа, но я ничего бы не хотела сделать, что бы вам не нравилось. Я вам верю во всем. Вы не знаете, как вы для меня важны и как вы много для меня сделали!... — Она говорила быстро и не замечая того, как Пьер покраснел при этих словах. — Я видела в том же приказе он, Болконский (быстро шопотом проговорила она это слово), — он в России и опять служит. Как вы думаете, — сказала она быстро, видимо торопясь говорить, потому что она боялась за свои силы, — простит он меня когда-нибудь? Не будет он иметь против меня злого чувства? Как вы думаете? Как вы думаете?

— Я думаю... — сказал Пьер. — Ему нечего прощать... Ежели бы я был на его месте... — По связи воспоминаний, Пьер мгновенно перенесся воображением к тому времени, когда он, утешая ее, сказал ей, что ежели бы он был не он, а лучший человек в мире и свободен, то он на коленях просил бы ее руки, и то же чувство жалости, нежности, любви охватило его, и те же слова были у него на устах. Но она не дала ему времени сказать их.

— Да вы — вы, — сказала она, с восторгом произнося это слово *вы*, — другое дело. Добрее, великодушнее, лучше вас я не знаю человека, и не может быть. Ежели бы вас не было тогда, да и теперь, я не знаю, что бы было со мною, потому что... — Слезы вдруг полились ей в глаза; она повернулась, подняла ноты к глазам, запела и пошла опять ходить по зале.

В это же время из гостиной выбежал Петя.

Петя был теперь красивый, румяный, пятнадцатилетний мальчик с толстыми, красными губами, похожий на Наташу. Он готовился в университет, но в последнее время, с товарищем своим Оболенским, тайно решил, что пойдет в гусары.

Петя выскочил к своему тезке, чтобы переговорить о деле.

Он просил его узнать, примут ли его в гусары.

Пьер шел по гостиной, не слушая Петю.

Петя дернул его за руку, чтоб обратить на себя его вниманье.

– Ну что мое дело, Петр Кирилыч, ради Бога! Одна надежда на вас, — говорил Петя.

– Ах да, твое дело. В гусары-то? Скажу, скажу. Нынче скажу всё.

– Ну что, mon cher,<sup>55</sup> ну что достали манифест? — спросил старый граф. — А графинюшка была у обедни у Разумовских, молитву новую слышала. Очень хорошая, говорит.

– Достал, — отвечал Пьер. — Завтра государь будет... Необычайное дворянское собрание и, говорят, по десяти с тысячи набор. Да, поздравляю вас.

– Да, да, слава Богу. Ну, а из армии что?

– Наши опять отступили. Под Смоленском уже, говорят, — отвечал Пьер.

– Боже мой, Боже мой! — сказал граф. — Где же манифест?

– Воззвание! Ах, да! — Пьер стал в карманах искать бумаг и не мог найти их. Продолжая охлопывать карманы, он поцеловал руку у вошедшей графини и беспокойно оглядывался, очевидно ожидая Наташу, которая не пела больше, но и не приходила в гостиную.

– Ей богу, не знаю, куда я его дел, — сказал он.

– Ну уж вечно растеряет всё, — сказала графиня. Наташа вошла с размягченным, взволнованным лицом и села, молча глядя на Пьера. Как только она вошла в комнату, лицо Пьера, до этого пасмурное, просияло, и он, продолжая отыскивать бумаги, несколько раз взглядывал на нее.

– Ей Богу, я съезжу, я дома забыл. Непременно...

– Ну, к обеду опоздаете.

– Ах, и кучер уехал. — Но Соня, пошедшая в переднюю искать бумаги, нашла их в шляпе Пьера, куда он их старательно заложил за подкладку. Пьер было хотел читать.

– Нет, после обеда, — сказал старый граф, видимо в этом чтении предвидевший большое удовольствие.

За обедом, за которым пили шампанское за здоровье нового георгиевского кавалера, Шиншин рассказывал городские новости о болезни старой грузинской княгини, о том, что Метивье исчез из Москвы, и о том, что к РаSTOPчину привели какого-то немца и объявили ему, что это шампиньон (так рассказывал сам граф РаSTOPчин), и как граф РаSTOPчин велел шампиньона отпустить, сказав народу, что это не шампиньон, а просто старый гриб немец.

– Хватают, хватают, — сказал граф, — я графине и то говорю, чтобы поменьше говорила по-французски. Теперь не время.

– А слышали? — сказал Шиншин. — Князь Голицын русского учителя взял, — по-русски учится — *il commence à devenir dangereux de parler français dans les rues.*<sup>56</sup>

– Ну что ж, граф Петр Кирилыч, как ополчение-то собирать будут, и вам придется на коня? — сказал старый граф, обращаясь к Пьеру.

Пьер был молчалив и задумчив во всё время этого обеда. Он, как бы не понимая, посмотрел на графа при этом обращении.

– Да, да, на войну, — сказал он, — нет! Какой я воин! — А впрочем всё так странно, так странно! Да я и сам не понимаю. Я не знаю, я так далек от военных вкусов, но в теперешние времена никто за себя отвечать не может.

<sup>55</sup> милый,

<sup>56</sup> становится опасным говорить по-французски на улицах.

После обеда граф уселся покойно в кресло и с серьезным лицом попросил Сою, славившуюся мастерством чтения, читать.

«Первопрестольной столице нашей Москве.

«Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любезное наше отечество», старательно читала Соня своим тоненьким голоском. Граф, закрыв глаза, слушал, порывисто вздыхая в некоторых местах.

Наташа сидела, вытянувшись, испытующе и прямо глядя то на отца, то на Пьера.

Пьер чувствовал на себе ее взгляд и старался не оглядываться. Графиня неодобрительно и сердито покачивала головой против каждого торжественного выражения манифеста. Она во всех этих словах видела только то, что опасности, угрожающие ее сыну, еще не скоро прекратятся. Шиншин, сложив рот в насмешливую улыбку, очевидно приготовился насмеяться над тем, что первое представится для насмешки: над чтением Сони, над тем, что скажет граф, даже над самым воззванием, ежели не представится лучше предлога.

Прочтя об опасностях, угрожающих России, о надеждах, возлагаемых государем на Москву, и в особенности на знаменитое дворянство, Соня с дрожанием голоса, происшедшим преимущественно от внимания, с которым ее слушали, прочла последние слова: «Мы не умедлим сами стать посреди народа своего в сей столице и в других государства нашего местях для совещания и руководствования всеми нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными на поражение оною везде, где только появится. Да обратится погибель, в которую он мнит низринуть нас, на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России!»

– Вот это так! – вскрикнул граф, открывая мокрые глаза и несколько раз прерываясь от сопенья, как будто к носу ему подносили стклянку с крепкою уксусною солью. – Только скажи государь, мы всем пожертвуем и ничего не пожалеем.

Шиншин еще не успел сказать приготовленную им шутку на патриотизм графа, как Наташа вскочила с своего места и подбежала к отцу.

– Чтó за прелесть, этот папа! – проговорила она, целуя его, и она опять взглянула на Пьера с тем бессознательным кокетством, которое вернулось к ней вместе с ее оживлением.

– Вот так патриотка! – сказал Шиншин.

– Совсем не патриотка, а просто... – обиженно отвечала Наташа. – Вам всё смешно, а это совсем не шутка...

– Какие шутки! – повторил граф. – Только скажи он слово, мы все пойдем... Мы не немцы какие-нибудь...

– А заметили вы, – сказал Пьер, что сказано: «для совещания».

– Ну уж там для чего бы ни было...

В это время Петя, на которого никто не обращал внимания, подошел к отцу и, весь красный, ломающимся, то грубым, то тонким голосом, сказал:

– Ну теперь, папенька, я решительно скажу – и маменька тоже, как хотите – я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу... вот и всё...

Графиня с ужасом подняла глаза к небу, всплеснула руками и сердито обратилась к мужу:

– Вот и договорился! – сказала она.

Но граф в ту же минуту оправился от волнения.

– Ну, ну, – сказал он. – Вот воин еще! Глупости-то оставь: учиться надо.

– Это не глупости, папенька. Оболенский Федя моложе меня и тоже идет, а главное, всё равно, я ничему не могу учиться теперь, когда... – Петя остановился, покраснел до поту и проговорил-таки: – когда отечество в опасности.

– Полно, полно, глупости...

– Да ведь вы сами сказали, что всем пожертвуем.

– Петя! Я тебе говорю, замолчи, – крикнул граф, оглядываясь на жену, которая, побледнев, смотрела остановившимися глазами на меньшого сына.

– А я вам говорю. Вот и Петр Кириллович скажет...

– Я тебе говорю – вздор, еще молоко не обсохло, а в военную службу хочет! Ну, ну, я тебе говорю, – и граф, взяв с собой бумаги, вероятно чтоб еще раз прочесть в кабинете перед отдыхом, пошел из комнаты.

– Петр Кириллович, что́ ж, пойдем покурить...

Пьер находился в смущении и нерешительности. Непривычно-блестящие и оживленные глаза Наташи беспрестанно, больше чем ласково обращавшиеся на него, привели его в это состояние.

– Нет, я, кажется, домой поеду...

– Как домой, да вы вечер у нас хотели... И то редко стали бывать. А эта моя... – сказал добродушно граф, указывая на Наташу, – только при вас и весела...

– Да, я забыл... Мне непременно надо домой... Дела... – поспешно сказал Пьер.

– Ну так до свидания, – сказал граф, совсем уходя из комнаты.

– Отчего вы уезжаете? Отчего вы расстроены? Отчего?... – спросила Пьера Наташа, вызываясь глядя ему в глаза.

«Оттого, что я тебя люблю!» хотел он сказать, но он не сказал этого, до слез покраснел и опустил глаза.

– Оттого, что мне лучше реже бывать у вас... Оттого... нет, просто у меня дела...

– Отчего? нет, скажите, – решительно начала было Наташа и вдруг замолчала. Они оба испуганно и смущенно смотрели друг на друга. Он попытался усмехнуться, но не мог: улыбка его выразила страдание, и он молча поцеловал ее руку и вышел.

Пьер решил сам с собою не бывать больше у Ростовых.

## XXI.

Петя, после полученного им решительного отказа, ушел в свою комнату и там, запершись от всех, горько плакал. Все сделали как будто ничего не заметили, когда он к чаю пришел молчаливым и мрачным с заплаканными глазами.

На другой день приехал государь. Несколько человек дворовых Ростовых отпросились пойти поглядеть царя. В это утро Петя долго одевался, причесывался и устраивал воротнички так, как у больших. Он хмурился перед зеркалом, делал жесты, пожимал плечами, и наконец, никому не сказавши, надел фуражку и вышел из дома с заднего крыльца, стараясь быть незамеченным. Петя решил итти прямо к тому месту, где был государь, и прямо объяснить какому-нибудь камергеру (Пете казалось, что государя всегда окружают камергеры), что он, граф Ростов, несмотря на свою молодость, желает служить отечеству, что молодость не может быть препятствием для преданности, и что он готов... Петя, в то время как он собирался, приготовил много прекрасных слов, которые он скажет камергеру.

Петя рассчитывал на успех своего представления государю именно потому, что он ребенок (Петя думал даже, как все удивятся его молодости), а вместе с тем в устройстве своих воротничков, в прическе и в степенной медлительной походке, он хотел представить из себя старого человека. Но чем дальше он шел, чем больше он развлекался всё прибывающим и прибывающим у Кремля народом, тем больше он забывал соблюдение степенности и медлительности, свойственных взрослым людям. Подходя к Кремлю, он уже стал заботиться о том, чтоб его не затолкали, и решительно, с угрожающим видом выставил по бокам локти. Но в Троицких воротах, несмотря на всю его решительность, люди, которые вероятно не знали, с какую патриотическую целью он шел в Кремль, так прижали его к стене, что он должен был покориться и остановиться, пока в ворота с гудящим под сводами звуком проезжали экипажи.

Около Пети стояла баба с лакеем, два купца и отставной солдат. Постояв несколько времени в воротах, Петя, не дождавшись того, чтобы все экипажи проехали, прежде других хотел тронуться дальше и начал решительно работать локтями; но баба, стоявшая против него, на которую он первую направил свои локти, сердито крикнула на него:

– Чтó, барчук, толкаешься, видишь – все стоят. Чтó ж лезть-то!

– Так и все ползут, – сказал лакей и, тоже начав работать локтями, затискал Петю в вонючий угол ворот.

Петя отер руками пот, покрывавший его лицо, и поправил размочившиеся от пота воротнички, которые он так хорошо, как у больших, устроил дома.

Петя чувствовал, что он имеет непрезентабельный вид, и боялся, что ежели таким он представится камергерам, то его не допустят до государя. Но оправиться и перейти в другое место не было никакой возможности от тесноты. Один из проезжающих генералов был знакомый Ростовых. Петя хотел просить его помощи, но счел, что это было бы противно мужеству. Когда все экипажи проехали, толпа хлынула и вынесла и Петю на площадь, которая была вся занята народом. Не только по площади, но на откосах, на крышах, везде был народ. Только что Петя очутился на площади, он явственно услышал наполнявшие весь Кремль звуки колоколов и радостного, народного говора.

Одно время на площади было просторнее, но вдруг все головы открылись, всё бросилось еще куда-то вперед. Петю сдавили так, что он не мог дышать, и всё закричало: «Ура! ура! ура!» Петя поднимался на цыпочки, толкался, щипался, но ничего не мог видеть кроме народа вокруг себя.

На всех лицах было одно общее выражение умиления и восторга. Одна купчиха, стоявшая подле Пети, рыдала, и слезы текли у нее из глаз.

– Отец, ангел, батюшка! – приговаривала она, отирая пальцами слезы.

– Ура! – кричали со всех сторон.

С минуту толпа простояла на одном месте; но потом опять бросилась вперед.

Петя, сам себя не помня, стиснул зубы и зверски выкатив глаза, бросился вперед, работая локтями и крича: «ура!» как будто он готов был и себя и всех убить в эту минуту, но с боков его лезли точно такие же зверские лица с такими же криками: «ура!»

«Так вот чтó такое государь!» думал Петя. «Нет, нельзя мне самому ему подать прошение, это слишком смело!» Несмотря на то, он всё так же отчаянно пробивался вперед, и из-за спин передних ему мелькнуло пустое пространство с устанным красным сукном ходом; но в это время толпа заколебалась назад (спереди полицейские отталкивали надвинувшихся слишком близко к шествию; государь проходил из дворца в Успенский собор), и Петя неожиданно получил в бок такой удар по ребрам, и так был придавлен, что вдруг в глазах его всё помутилось, и он потерял сознание. Когда он пришел в себя, какое-то духовное лицо, с пучком седевших волос назад, в потертой синей рясе – вероятно дьячок, одною рукой держал его под мышку, другою охранял от напиравшей толпы.

– Барченка задавили! – говорил дьячок. – Чтó ж так!. легче... задавили, задавили!

Государь прошел в Успенский собор. Толпа опять разровнялась, и дьячок вывел Петю бледного и не дышащего к царь-пушке. Несколько лиц пожалели Петю, и вдруг вся толпа обратилась к нему, и уже вокруг него произошла давка. Те, которые стояли ближе, служивали ему, расстегивали его сюртучок, усаживали на возвышение пушки и укоряли кого то, тех, кто раздавил его.

– Этак до смерти раздавить можно. Чтó ж это ! Душегубство делать! Видишь сердечный, как скатерть белый стал, – говорили голоса.

Петя скоро опомнился, краска вернулась ему в лицо, боль прошла, и за эту временную неприятность он получил место на пушке, с которой он надеялся увидеть должествующего

пройти назад государя. Петя уже не думал теперь о подаче прошения. Уже только ему увидеть бы Его, и то он считал бы себя счастливым!

Во время службы в Успенском соборе – соединенного молебствия по случаю приезда государя и благодарственного молебствия за заключение мира с турками, толпа пораспространилась; появились покрикивающие продавцы квасу, пряников, мака, до которого был особенно охотник Петя, и слышались обыкновенные разговоры. Одна купчиха показывала свою разорванную шаль и сообщала, как дорого она была куплена; другая говорила, что нынче все шелковые материи дороги стали. Дьячок, спаситель Пети, разговаривал с чиновником о том, кто и кто служит нынче с преосвященным. Дьячок несколько раз повторял слово *соборне*, которого не понимал Петя. Два молодых мещанина шутили с дворовыми девушками, грызущими орехи. Все эти разговоры, в особенности шуточки с девушками, для Пети, в его возрасте, имевшие особенную привлекательность, все эти разговоры теперь не занимали Петю; он сидел на своем возвышении – пушке, всё так же волнуясь при мысли о государе и о своей любви к нему. Совпадение чувства боли и страха, когда его сдавили, с чувством восторга, еще более усилило в нем сознание важности этой минуты.

Вдруг с набережной слышались пушечные выстрелы (ото стреляли в ознаменование мира с турками), и толпа стремительно бросилась к набережной – смотреть, как стреляют. Петя тоже хотел бежать туда, но дьячок, взявший под свое покровительство барченка, не пустил его. Еще продолжались выстрелы, когда из Успенского собора выбежали офицеры, генералы, камергеры, потом уже не так поспешно вышли еще другие, опять снялись шапки с голов, и те, которые убежали смотреть пушки, бежали назад. Наконец вышли еще четверо мужчин в мундирах и лентах из дверей собора. «Ура! ура!» опять закричала толпа.

– Который? Который? – плачущим голосом спрашивал вокруг себя Петя, но никто не отвечал ему; все были слишком увлечены, и Петя, выбрав одного из этих четырех лиц, которого он из-за слез, выступивших ему от радости на глаза, не мог ясно разглядеть, сосредоточил на нем весь свой восторг, хотя это был не государь, закричал «ура!» неистовым голосом и решил, что завтра же, чего бы это ему ни стоило, он будет военным.

Толпа побежала за государем, проводила его до дворца и стала расходиться. Было уже поздно, и Петя ничего не ел, и пот лил с него градом; но он не уходил домой, и вместе с уменьшившеюся, но еще довольно большою толпой стоял перед дворцом, во время обеда государя, глядя в окна дворца, ожидая еще чего-то и завидуя одинаково и сановникам, подъезжавшим к крыльцу – к обеду государя, и камер-лакеям, служившим за столом и мелькавшим в окнах.

За обедом государя Валуев сказал, оглянувшись в окно:

– Народ всё еще надеется увидеть ваше величество.

Обед уже кончился, государь встал, доедая бисквит, и вышел на балкон. Народ, с Петей в середине, бросился к балкону.

– Ангел, батюшка! Ура! Отец!... – кричал народ и с ним Петя, и опять бабы и некоторые мужчины послабее, в том числе и Петя, заплакали от счастья. Довольно большой обломок бисквита, который держал в руке государь, отломившись, упал на перилы балкона, с перил на землю. Ближе всех стоявший кучер в поддевке бросился к этому кусочку бисквита и схватил его. Некоторые из толпы бросились к кучеру. Заметив это, государь велел подать себе тарелку с бисквитами и стал кидать бисквиты с балкона. Глаза Пети налились кровью, опасность быть задавленным еще более возбуждала его, он бросился на бисквиты. Он не знал зачем, но нужно было взять один бисквит из рук царя, и нужно было не поддаться. Он бросился и сбил с ног старушку, ловившую бисквит. Но старушка не считала себя побежденною, хотя и лежала на земле (старушка ловила бисквиты и не попадала руками). Петя коленкой отбил ее руку, схватил бисквит, и как будто боясь опоздать, опять закричал: ура! уже охриплым голосом.

Государь ушел, и после этого большая часть народа стала расходиться.

– Вот я говорил, что еще подождать – так и вышло, – с разных сторон радостно говорили в народе.

Как ни счастлив был Петя, но ему всё-таки грустно было идти домой и знать, что всё наслаждение этого дня кончилось. Из Кремля Петя пошел не домой, а к своему товарищу Оболенскому, которому было пятнадцать лет и который тоже поступал в полк. Вернувшись домой, он решительно и твердо объявил, что ежели его не пустят, то он убежит. И на другой день, хотя и не совсем еще сдавшись, но граф Илья Андреич поехал узнавать, как бы пристроить Петю куда-нибудь побезопаснее.

## XXII.

15-го числа, утром, на третий день после этого, у Слободского дворца стояло бесчисленное количество экипажей.

Залы были полны. В первой были дворяне в мундирах, во второй купцы с медалями, в бородах и синих кафтанах. По зале дворянского собрания шел гул и движение. У одного большого стола, под портретом государя, сидели, на стульях с высокими спинками, важнейшие вельможи; но большинство дворян ходило по зале.

Все дворяне, те самые, которых каждый день видал Пьер то в клубе, то в их домах, – все были в мундирах, кто в Екатерининских, кто в Павловских, кто в новых Александровских, кто в общем дворянском, и этот общий характер мундира придавал что-то странное и фантастическое этим старым и молодым, самым разнообразным и знакомым лицам. Особенно поразительны были старики, подслеповатые, беззубые, плешивые, оплывшие желтым жиром или сморщенные, худые. Они большею частью сидели на местах и молчали, и ежели ходили и говорили, то пристраивались к кому-нибудь помоложе. Так же как на лицах толпы, которую на площади видел Петя, на всех этих лицах была поразительна черта противоположности: между общим ожиданием чего-то торжественного, и между обыкновенным, вчерашним – бостонною партией, Петрушкой-поваром, здоровьем Зинаиды Дмитриевны и т. п.

Пьер, с раннего утра стянутый в неловком, сделавшемся ему узким, дворянском мундире, был в залах. Он был в волнении: необыкновенное собрание не только дворянства, но и купечества – сословий, *états généraux* – вызвало в нем целый ряд давно оставленных, но глубоко врезавшихся в его душу мыслей о *Contrat social*<sup>57</sup> и французской революции. Замеченные им в воззвании слова, что государь прибудет в столицу для *совещания* с своим народом, утверждали его в этом взгляде. И он, полагая, что в этом смысле приближается что-то важное, то, чего он ждал давно, ходил, присматривался, прислушивался к говору, но нигде не находил выражения тех мыслей, которые занимали его.

Был прочтен манифест государя, вызвавший восторг, и потом все разбрелись, разговаривая. Кроме обычных интересов, Пьер слышал толки о том, где стоять предводителям, в то время как войдет государь, когда дать бал государю, разделить ли по уездам или всею губернией... и т. д.; но как скоро дело касалось войны и того, для чего было собрано дворянство, толки были нерешительны и неопределенны. Все больше желали слушать, чем говорить.

Один мужчина средних лет, мужественный, красивый, в отставном морском мундире, говорил в одной из зал, и около него столпились. Пьер подошел к образовавшемуся кружку около говоруна и стал прислушиваться. Граф Илья Андреич в своем Екатерининском, воеводском кафтане, ходивший с приятною улыбкой между толпой, со всеми знакомый, подошел тоже к этой группе и стал слушать с своею доброю улыбкой, как он всегда слушал, в знак согласия с говорившим одобрительно кивая головой. Отставной моряк говорил очень смело (это видно было по выражению лиц, его слушавших) и по тому, что известные Пьеру за самых покор-

<sup>57</sup> [Общественный договор]

ных и тихих людей неодобрительно отходили от него или противоречили. Пьер протолкался в середину кружка, прислушался и убедился, что говоривший действительно был либерал, но совсем в другом смысле, чем думал Пьер. Моряк говорил тем особенно звучным, певучим, дворянским баритоном, с приятным грасированием и сокращением согласных, тем голосом, которым покрикивают: «чаек, трубку!» и тому подобное. Он говорил с привычкой разгула и власти в голосе.

– Что ж, что смоляне предложили ополченцов госуау. Разве нам смоляне указ? Ежели буародное дворянство Московской губернии найдет нужным, оно может выказать свою преданность государю императору другими средствами. Разве мы забыли ополчение в седьмом году! Только что нажились кутейники да воры-грабители...

Граф Илья Андреич, сладко улыбаясь, одобрительно кивал головой.

– И что же, разве наши ополченцы составили пользу для государства? Никакой! только разорили наши хозяйства. Лучше еще набор... а то вернется к вам ни солдат, ни мужик, и только один разврат. Дворяне не жалеют своего живота, мы сами поголовно пойдем, возьмем еще рекрут и всем нам только клич кликни гусай (он так выговаривал государь), мы все умрем за пего, – прибавил оратор, одушевляясь.

Илья Андреич проглатывал слюни от удовольствия и толкал Пьера, но Пьеру захотелось также говорить. Он выдвинулся вперед, чувствуя себя одушевленным, сам не зная еще чем и сам не зная еще, что он скажет. Он только что открыл рот, чтобы говорить, как один сенатор, совершенно без зубов, с умным и сердитым лицом, стоявший близко от оратора, перебил Пьера. С видимою привычкой вести прения и держать вопросы, он заговорил тихо, но слышно:

– Я полагаю, милостивый государь, – шамкая беззубым ртом, сказал сенатор, – что мы призваны сюда не для того, чтоб обсуждать, что удобнее для государства в настоящую минуту – набор или ополчение. Мы призваны для того, чтоб отвечать на то воззвание, которым нас удостоил государь император. А судить о том, что удобнее – набор или ополчение, мы предоставим судить высшей власти...

Пьер вдруг нашел исход своему одушевлению. Он ожесточился против сенатора, вносящего эту правильность и узкость воззрений в предстоящие занятия дворянства. Пьер выступил вперед и остановил его. Он сам не знал, что он будет говорить, но начал оживленно, изредка прорываясь французскими словами и книжно выражаясь по-русски.

– Извините меня, ваше превосходительство, – начал он (Пьер был хорошо знаком с этим сенатором, но считал здесь необходимым обращаться к нему официально), – хотя я несогласен с господином... (Пьер запнулся. Ему хотелось сказать *mon très honorable préopinant*<sup>58</sup>) с господином... *que je n'ai pas l'honneur de connaître*;<sup>59</sup> – но я полагаю, что сословие дворянства, кроме выражения своего сочувствия и восторга, призвано также для того, чтоб и обсудить те меры, которыми мы можем помочь отечеству. Я полагаю, – говорил он воодушевляясь, – что государь был бы сам недоволен, ежели бы он нашел в нас только владельцев мужиков, которых мы отдаем ему и бр... *chair à canon*,<sup>60</sup> которую мы из себя делаем, но не нашел бы в нас со... со... совета.

Многие поотошли от кружка, заметив презрительную улыбку сенатора, и то, что Пьер говорит вольно; только Илья Андреич был доволен речью Пьера, как он был доволен речью моряка, сенатора и вообще всегда тою речью, которую он последнюю слышал.

– Я полагаю, что прежде чем обсуждать эти вопросы, – продолжал Пьер, – мы должны спросить у государя, почтительнейше просить его величество комюнизировать нам, сколько у нас войска, в каком положении находятся наши войска и армии, и тогда...

<sup>58</sup> [мой многоуважаемый возражатель]

<sup>59</sup> которого я не имею чести знать;

<sup>60</sup> мясо для пушек,

Но Пьер не успел договорить этих слов, как с трех сторон вдруг напали на него. Сильнее всех напал на него давно знакомый ему, всегда хорошо расположенный к нему игрок в бостон, Степан Степанович Адраксин. Степан Степанович был в мундире, и от мундира ли или от других причин, Пьер увидел перед собой совсем другого человека. Степан Степанович, с вдруг проявившеюся старческой злобой на лице, закричал на Пьера.

– Во-первых, доложу вам, что мы не имеем права спрашивать об этом государя, а во-вторых, ежели бы было такое право у российского дворянства, то государь не может нам ответить. Войска движутся сообразно с движениями неприятеля – войска убывают и прибывают...

Другой голос человека среднего роста, лет сорока, которого Пьер в прежние времена видал у цыган и знал за нехорошего игрока в карты, и который тоже измененный в мундире придвинулся к Пьеру, перебил Адраксина.

– Да и не время рассуждать, – говорил голос этого дворянина, – а нужно действовать: война в России. Враг наш идет, чтобы погубить Россию, чтобы поругать могилы наших отцов, чтоб увести жен, детей. – Дворянин ударил себя в грудь. – Мы все встанем, все поголовно пойдем, все за царя-батюшку! – кричал он, выкатывая кровью налившиеся глаза. Несколько одобряющих голосов послышалось из толпы. – Мы русские и не пожалеем крови своей для защиты веры, престола и отечества. А бредни надо оставить, ежели мы сыны отечества. Мы покажем Европе, как Россия восстает за Россию, – кричал дворянин.

Пьер хотел возражать, но не мог сказать ни слова. Он чувствовал, что звук его слов, независимо от того, какую они заключали мысль, был менее слышен, чем звук слов оживленного дворянина.

Илья Андреич одобрял сзади кружка; некоторые бойко поворачивались плечом к оратору, при конце фразы, и говорили:

– Вот так, так! Это так!

Пьер хотел сказать, что он не прочь ни от пожертвований, ни деньгами, ни мужиками, ни собой, но что надо бы знать состояние дел, чтобы помогать ему, но он не мог говорить. Много голосов кричало и говорило вместе, так что Илья Андреич не успевал кивать всем; и группа увеличивалась, распадалась, опять сходилась и двинулась вся, гудя говором, в большую залу, к большому столу. Пьеру не только не удавалось говорить, но его грубо перебивали, отталкивали, отворачивались от него, как от общего врага. Это не оттого происходило, что не довольны были смыслом его речи, ее и забыли после большого количества речей, последовавших за ней, – но для одушевления толпы нужно было иметь осязательный предмет любви и осязательный предмет ненависти. Пьер сделался этим последним. Много ораторов говорило после оживленного дворянина, и все говорили в том же тоне. Многие говорили прекрасно и оригинально.

Издатель *Русского Вестника* Глинка, которого узнали («писатель, писатель!») послышалось в толпе), сказал, что ад должно отражать адом, что он видел ребенка, улыбающегося при блеске молнии и при раскатах грома, но что мы не будем этим ребенком.

– Да, да, при раскатах грома! – повторяли одобрительно в задних рядах.

Толпа подошла к большому столу, у которого в мундирах, в лентах, седые, плешивые, сидели семидесятилетние вельможи-старика, которых всех почти, по домам с шутами или в клубах за бостоном, видал Пьер. Толпа подошла к столу, не переставая гудеть. Один за другим, и иногда два вместе, прижатые сзади к высоким спинкам стульев налегающей толпой, говорили ораторы. Стоявшие сзади замечали, чего не досказал говоривший оратор, и торопились сказать это пропущенное. Другие, в этом жаре и тесноте, шарили в своей голове, не найдется ли какая мысль и торопились говорить ее. Знакомые Пьеру старички-вельможи сидели и оглядывались то на того, то на другого, и выражение большей части из них говорило только, что им очень жарко. Пьер однако чувствовал себя взволнованным, и общее чувство желания показать, что нам всё ни по чем, выразившееся больше в звуках и в выражениях лиц, чем в смысле речей,

сообщалось и ему. Он не отрекся от своих мыслей, но чувствовал себя в чем-то виноватым и желал оправдаться .

– Я сказал только, что нам удобнее было бы делать пожертвования, когда мы будем знать в чем нужда, – стараясь перекричать другие голоса, проговорил он.

Один ближайший старичок оглянулся на него, но тотчас был отвлечен криком, начавшимся на другой стороне стола. – Да, Москва будет сдана! Она будет искупительницей! – кричал один.

– Он враг человечества! – кричал другой. – Позвольте мне говорить... Господа, вы меня давите!..

## XXIII.

В это время быстрыми шагами пред расступившеюся толпой дворян, в генеральском мундире, с лентой через плечо, с своим высунутым подбородком и быстрыми глазами, вошел граф Растопчин.

– Государь император сейчас будет, – сказал Растопчин, – я только что оттуда. Я полагаю, что в том положении, в котором мы находимся, судить много нечего. Государь удостоил собрать нас и купечество, – сказал граф Растопчин. – Оттуда польются миллионы (он указал на залу купцов), а наше дело выставить ополчение и не щадить себя... Это меньшее, что мы можем сделать!

Начались совещания между одними вельможами, сидевшими за столом. Всё совещание прошло больше, чем тихо. Оно даже казалось грустно, когда, после всего прежнего шума, по одиночке были слышны старые голоса, говорившие один «согласен», другой для разнообразия: «и я того же мнения», и т. д.

Было велено секретарю писать постановление московского дворянства о том, что москвичи, подобно смолянам, жертвуют по 10 человек с 1000 и полное обмундирование. Господа заседавшие встали, как бы облегченные, загремели стульями и пошли по зале разминать ноги, забирая кое-кого под руку и разговаривая.

– Государь! Государь! – вдруг разнеслось по залам, и вся толпа бросилась к выходу.

По широкому ходу, между стеной дворян, государь прошел в залу. На всех лицах выразилось почтительное и испуганное любопытство. Пьер стоял довольно далеко и не мог вполне расслышать речи государя. Он понял только по тому, что он слышал, что государь говорил об опасности, в которой находилось государство, и о надеждах, которые он возлагал на московское дворянство. Государю отвечал другой голос, сообщавший о только что состоявшемся постановлении дворянства.

– Господа! – сказал дрогнувший голос государя; толпа зашелестила и опять затихла, и Пьер ясно услышал столь приятно-человеческий и тронутый голос государя, который говорил: – «Никогда я не сомневался в усердии русского дворянства. Но в этот день оно превзошло мои ожидания. Благодарю вас от лица отечества. Господа, будем действовать – время всего дороже...»

Государь замолчал, толпа стала тесниться вокруг него и со всех сторон слышались восторженные восклицания.

– Да, всего дороже... царское слово, – рыдая говорил сзади голос Ильи Андреича, ничего не слышавшего, но всё понимавшего по своему.

Из залы дворянства государь прошел в залу купечества. Он пробыл там около десяти минут. Пьер в числе других увидел государя, выходящего из залы купечества со слезами умиления на глазах. Как потом узнали, государь только что начал речь купцам, как слезы брызнули из его глаз, и он дрожащим голосом договорил ее. Когда Пьер увидел государя, он выходил, сопровождаемый двумя купцами. Один был знаком Пьеру, толстый откупщик, другой – голова,

с худым, узкобородым желтым лицом. Оба они плакали. У худого стояли слезы, но толстый откупщик рыдал как ребенок и всё твердил:

– И жизнь, и имущество возьми, ваше величество!

Пьер не чувствовал в эту минуту уже ничего кроме желания показать, что всё ему ни по чем, и что он всем готов жертвовать. Как упрек ему, представлялась его речь с конституционным направлением; он искал случая загладить это. Узнав, что граф Мамонов жертвует полк, Безухов тут же объявил графу Растопчину, что он отдает 1000 человек и их содержание.

Старик Ростов без слез не мог рассказать жене того, что было, и тут же согласился на просьбу Пети и сам поехал записывать его.

На другой день государь уехал. Все собранные дворяне сняли мундиры, опять разместились по домам и клубам, и покряхтывая отдавали приказания управляющим об ополчении, и удивлялись тому, что они сделали.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

### I.

Наполеон начал войну с Россией потому, что он не мог не приехать в Дрезден, не мог не отуманиться почестями, не мог не надеть польского мундира, не поддаться предприимчивому впечатлению июньского утра, не мог воздержаться от вспышки гнева в присутствии Куракина и потом Балашева.

Александр отказывался от всех переговоров потому, что он лично чувствовал себя оскорбленным. Барклай-де-Толли старался наилучшим образом управлять армией, для того чтобы исполнить свой долг и заслужить славу великого полководца. Ростов поскакал в атаку на французов потому, что он не мог удержаться от желания, проскакаться по ровному полю. И так точно, вследствие своих личных свойств, привычек, условий и целей, действовали все те неперечислимые лица, участники этой войны. Они боялись, тщеславились, радовались, негодовали, рассуждали, полагая, что они знают то, что они делают, и что делают для себя, а все были произвольными орудиями истории и производили скрытую от них, но понятную для нас работу. Такова неизменная судьба всех практических деятелей, и тем не свободнее, чем выше они стоят в людской иерархии.

Теперь деятели 1812-го года давно сошли с своих мест, их личные интересы исчезли бесследно, и одни исторические результаты того времени перед нами.

Провидение заставляло всех этих людей, стремясь к достижению своих личных целей, содействовать исполнению одного огромного результата, о котором ни один человек (ни Наполеон, ни Александр, ни еще менее кто-либо из участников войны) не имел ни малейшего чаяния.

Теперь нам ясно, что было в 1812-м году причиной гибели французской армии. Никто не станет спорить, что причиной гибели французских войск Наполеона было с одной стороны вступление их в позднее время без приготовления к зимнему походу в глубь России, а с другой стороны характер, который приняла война от сожжения русских городов и возбуждения ненависти к врагу в русском народе. Но тогда не только никто не предвидел того (что теперь кажется очевидным), что только этим путем могла погибнуть 800-тысячная, лучшая в мире и предводимая лучшим полководцем, армия в столкновении с вдвое слабейшей, неопытной и предводимой неопытными полководцами, русской армией; *не только никто не предвидел* этого, но все усилия *со стороны русских* были постоянно устремляемы на то, чтобы помешать тому, что одно могло спасти Россию, и *со стороны французов*, несмотря на опытность и так называемый военный гений Наполеона, были устремлены все усилия к тому, чтобы растянуться в конце лета до Москвы, т.е. сделать то самое, что должно было погубить их.

В исторических сочинениях о 1812-м годе авторы-французы очень любят говорить о том, как Наполеон чувствовал опасность растяжения своей линии, как он искал сражения, как маршалы его советовали ему остановиться в Смоленске, и приводить другие подобные доводы, доказывающие, что тогда уже будто понята была опасность кампании; а авторы-русские еще более любят говорить о том, как с начала кампании существовал план Скифской войны заманивания Наполеона в глубь России и приписывают этот план кто Пфулю, кто какому-то французу, кто Толю, кто самому императору Александру, указывая на записки, на проекты и письма, в которых действительно находятся намеки на этот образ действий. Но все эти намеки на предвиденье того, что случилось, как со стороны французов, так и со стороны русских, выставляются теперь только потому, что событие оправдало их. Ежели бы событие не совершилось, то намеки эти были бы забыты, как забыты теперь тысячи и миллионы противоположных намеков

и предположений, бывших в ходу тогда, но оказавшихся несправедливыми и потому забытых. Об исходе каждого совершающегося события всегда бывает столько предположений, что, чем бы оно ни кончилось, всегда найдутся люди, которые скажут: «Я тогда еще сказал, что это так будет», забывая совсем, что в числе бесчисленных предположений были делаемы и совершенно противоположные.

Предположения о сознании Наполеоном опасности растяжения линии и, со стороны русских, о завлечении неприятеля в глубь России. – принадлежат очевидно к этому разряду, и историки только с большою натяжкой могут приписывать такие соображения Наполеону и его маршалам и такие планы русским военачальникам. Все факты совершенно противуречат таким предположениям. Не только во всё время войны, со стороны русских не было желания заманить французов в глубь России, но всё было делается для того, чтоб остановить их с первого вступления их в Россию, и не только Наполеон не боялся растяжения своей линии, но он радовался, как торжеству, каждому своему шагу вперед, и очень лениво, не так, как в прежние свои кампании, искал сражения.

При самом начале кампании, армии наши разрезаны, и единственная цель, к которой мы стремимся, состоит в том, чтобы соединить их, хотя для того, чтоб отступить и завлекать неприятеля в глубь страны, в соединении армий не представляется выгод. Император находится при армии для воодушевления ее в отстаивании каждого шага русской земли, а не для отступления. Устраивается громадный Дрисский лагерь по плану Пфуля, и не предполагается отступить далее. Государь делает упреки главнокомандующим за каждый шаг отступления. Не только сожжение Москвы, но и допущение неприятеля до Смоленска не может даже представиться воображению императора, и когда армии соединяются, то государь негодует за то, что Смоленск взят и сожжен, и не дано пред стенами его генерального сражения.

Так думает государь, но русские военачальники и все русские люди еще более негодуют при мысли о том, что наши отступают в глубь страны.

Наполеон, разрезав армии, движется в глубь страны и упускает несколько случаев сражения. В августе месяце он в Смоленске и думает только о том, как бы ему идти дальше, хотя как мы теперь видим, это движение вперед для него очевидно пагубно.

Факты говорят очевидно, что ни Наполеон не предвидел опасности в движении на Москву, ни Александр и русские военачальники не думали тогда о заманивании Наполеона, а думали о противном. Завлечение Наполеона в глубь страны произошло не по чьему-нибудь плану (никто и не верил в возможность этого), а произошло от сложнейшей игры интриг, целей, желаний людей – участников войны, не угадывавших того, что должно быть, и того, что было единственным спасением России. Всё происходит нечаянно. Армии разрезаны при начале кампании. Мы стараемся соединить их с очевидною целью дать сражение и удержать наступление неприятеля, но в этом стремлении к соединению, избегая сражений с сильнейшим неприятелем, и невольно отходя, под острым углом, мы заводим французов до Смоленска. Но мало того сказать, что мы отходим под острым углом, потому что французы двигаются между обеими армиями – угол этот делается еще острее, и мы еще дальше уходим, потому что Барклай-де-Толли, непопулярный немец, ненавистен Багратиону (имеющему стать под его начальство), и Багратион, командуя 2-ю армией, старается как можно дольше не присоединяться к Барклаю, чтобы не стать под его команду. Багратион долго не присоединяется (хотя в соединении главная цель всех начальствующих лиц), потому что ему кажется, что он на этом марше ставит в опасность свою армию, и что выгоднее всего для него отступить левее и южнее, беспокоя с фланга и тыла неприятеля и комплектуя свою армию в Украине. А кажется и придумано это им потому, что ему не хочется подчиняться ненавистному и младшему чином, немцу Барклаю.

Император находится при армии, чтобы воодушевлять ее, а присутствие его и незнание, на что решиться, и огромное количество советников и планов уничтожают энергию действий 1-й армии, и армия отступает. В Дрисском лагере предполагается остановиться; но неожиданно

Паулучи, метящий в главнокомандующие, своею энергией действует на Александра, и весь план Пфуля бросается, и всё дело поручается Барклаю. Но так как Барклай не внушает доверия, власть его ограничивают.

Армии раздроблены, нет единства начальства, Барклай не популярен; но из этой путаницы, раздробления и непопулярности немца-главнокомандующего с одной стороны вытекает нерешительность и избежание сражения (от которого нельзя было бы удержаться, ежели бы армии были вместе и не Барклай был бы начальником), с другой стороны – всё большее и большее негодование против немцев и возбуждение патриотического духа.

Наконец государь уезжает из армии, и как единственный и удобнейший предлог для его отъезда избирается мысль, что ему надо воодушевить народ в столицах для возбуждения народной войны. И эта поездка государя в Москву утрачивает силы русского войска.

Государь уезжает из армии для того, чтобы не стеснять единство власти главнокомандующего, и надеется, что будут приняты более решительные меры; но положение начальства армий еще более путается и ослабевает. Бенигсен, великий князь и герой генерал-адъютантов остаются при армии с тем, чтобы следить за действиями главнокомандующего и возбуждать его к энергии, и Барклай, еще менее чувствуя себя свободным под глазами всех этих *глаз государевых*, делается еще осторожнее для решительных действий и избегает сражения.

Барклай стоит за осторожность. Цесаревич намекает на измену и требует генерального сражения. Любомирский, Браницкий, Влоцкий и тому подобные так раздувают весь этот шум, что Барклай, под предлогом доставления бумаг государю, отсылает поляков генерал-адъютантов в Петербург и входит в открытую борьбу с Бенигсеном и великим князем.

В Смоленске наконец, как ни не желал того Багратион, соединяются армии.

Багратион в карете подъезжает к дому, занимаемому Барклаем. Барклай надевает шарф, выходит навстречу и рапортует старшему чином Багратиону. Багратион, в борьбе великодушия, несмотря на старшинство чина, подчиняется Барклаю; но подчинившись, еще меньше соглашается с ним. Багратион лично, по приказанию государя, доносит ему. Он пишет Аракчееву: «Воля государя моего, я никак вместе с *министром* (Барклаем) не могу. Ради Бога, пошлите меня куда-нибудь хотя полком командовать, а здесь быть не могу; и вся главная квартира немцами наполнена, так что русскому жить невозможно, и толку никакого нет. Я думал, истинно служу государю и отечеству, а на поверку выходит, что я служу Барклаю. Признаюсь, не хочу». Рой Браницких, Винцингероде и тому подобных еще более отравляет сношения главнокомандующих, и выходит еще меньше единства. Собираются атаковать французов пред Смоленском. Посылается генерал для смотра позиции. Генерал этот, ненавидя Барклая, едет к приятелю, корпусному командиру, и, просидев у него день, возвращается к Барклаю и осуждает по всем пунктам будущее поле сражения, которого он не видал.

Пока происходят споры и интриги о будущем поле сражения, пока мы отыскивали французов, ошибаясь в их месте нахождения, французы натываются на дивизию Неверовского и подходят к самым стенам Смоленска.

Надо принять неожиданное сражение в Смоленске, чтобы спасти свои сообщения. Сражение дается. Убиваются тысячи с той и с другой стороны.

Смоленск оставляется вопреки воле государя и всего народа. Но Смоленск сожжен самими жителями, обманутыми своим губернатором, и разоренные жители, показывая пример другим русским, едут в Москву, думая только о своих потерях и разжигая ненависть к врагу. Наполеон идет дальше, мы отступаем, и достигается то самое, что должно было победить Наполеона.

## II.

На другой день после отъезда сына, князь Николай Андреич позвал к себе княжну Марью.

– Ну что, довольна теперь? – сказал он ей, – поссорила с сыном! Довольна? Тебе только и нужно было! Довольна?... Мне это больно, больно. Я стар и слаб, и тебе этого хотелось. Ну радуйся. радуйся... – И после этого княжна Марья в продолжение недели не видала своего отца. Он был болен и не выходил из кабинета.

К удивлению своему, княжна Марья заметила, что за это время болезни старый князь так же не допускал к себе и m-lle Bourienne. Один Тихон ходил за ним.

Через неделю князь вышел и начал опять прежнюю жизнь, с особенною деятельностью занимаясь постройками и садами и прекратив все прежние отношения с m-lle Bourienne. Вид его и холодный тон с княжной Марьей как будто говорили ей: «Вот видишь, ты выдумала на меня, нагала князю Андрею про отношения мои к этой француженке и поссорила меня с ним; а ты видишь, что мне не нужны ни ты, ни француженка».

Одну половину дня княжна Марья проводила у Николушки, следя за его уроками, сама давала ему уроки русского языка и музыки и разговаривала с Десалем; другую часть дня она проводила с книгами, старухой-няней и с божьими людьми, которые иногда с заднего крыльца приходили к ней.

О войне княжна Марья думала так, как думают о войне женщины. Она боялась за брата, который был там, ужасалась, не понимая ее, пред людскою жестокостью, заставлявшею их убивать друг друга; но не понимала значения этой войны, казавшейся ей такою же, как и все прежние войны. Она не понимала значения этой войны, несмотря на то, что Десаль, ее постоянный собеседник, страстно интересовавшийся ходом войны, старался ей растолковать свои соображения и несмотря на то, что приходившие к ней божьи люди все по-своему с ужасом говорили о народных слухах про нашествие антихриста, и несмотря на то, что Жюли, теперь княгиня Друбецкая, опять вступившая с ней в переписку, писала ей из Москвы патриотические письма.

«Я вам пишу по-русски, мой добрый друг», – писала Жюли, – потому что я имею ненависть ко всем французам, равно и к языку их, который я не могу слышать говорить... Мы в Москве все восторжены через энтузиазм к нашему обожаемому императору.

Бедный муж мой переносит труды и голод в жидовских корчмах; но новости, которые я имею, еще более воодушевляют меня.

Вы слышали верно о героическом подвиге Раевского, обнявшего двух сыновей и сказавшего: «Погибну с ними, но не поколеблется!» И действительно, хотя неприятель был вдвое сильнее нас, мы не колебнулись. Мы проводим время, как можем: но на войне, как на войне. Княжна Алина и Sophie сидят со мною целые дни, и мы, несчастные вдовы живых мужей, за корпией делаем прекрасные разговоры; только вас, мой друг, не достает...» и т. д.

Преимущественно не понимала княжна Марья всего значения этой войны потому, что старый князь никогда не говорил про нее, не признавал ее и смеялся за обедом над Десалем, говорившим об этой войне. Тон князя был так спокоен и уверен, что княжна Марья не рассуждая верила ему.

Весь июль месяц старый князь был чрезвычайно деятелен и даже оживлен. Он заложил еще новый сад и новый корпус, строение для дворовых. Одно, что беспокоило княжну Марью, было то, что он мало спал и, изменив свою привычку спать в кабинете, каждый день менял место своих ночлегов. То он приказывал разбить свою походную кровать в галлерее, то он оставался на диване или в вольтеровском кресле в гостиной и дремал не раздеваясь, между тем как не m-lle Bourienne, а мальчик Петруша читал ему; то он ночевал в столовой.

Первого августа было получено второе письмо от князя Андрея. В первом письме, полученном вскоре после его отъезда, князь Андрей просил с покорностию прощения у своего отца за то, что он позволил себе сказать ему, и просил его возвратить ему свою милость. На это письмо старый князь отвечал ему ласковым письмом, и после этого письма отдалил от себя француженку. Второе письмо князя Андрея, писанное из под Витебска, после того как французы заняли его, состояло из краткого описания всей кампании с планом, нарисованным в письме, и из соображений о дальнейшем ходе кампании. В письме этом князь Андрей представлял отцу неудобства его положения вблизи от театра войны, на самой линии движения войск, и советовал ехать в Москву.

За обедом в этот день на слова Десалья, говорившего о том, что, как слышно, французы уже вступили в Витебск, старый князь вспомнил о письме князя Андрея.

– Получил от князя Андрея нынче, – сказал он княжне Марье: – не читала?

– Нет, *mon père*,<sup>61</sup> – испуганно отвечала княжна. Она не могла читать письма, про получение которого она даже не слышала.

– Он пишет про войну про эту, – сказал князь с тою сделавшеюся ему привычною, презрительною улыбкой, с которою он говорил всегда про настоящую войну.

– Должно быть очень интересно, – сказал Десаль. – Князь в состоянии знать...

– Ах, очень интересно! – сказала *m-lle Bourienne*.

– Подите принесите мне, – обратился старый князь к *m-lle Bourienne*. – Вы знаете, на маленьком столе под пресс-папье.

*M-lle Bourienne* радостно вскочила.

– Ах нет, – нахмурившись крикнул он. – Поди ты, Михаил Иваныч!

Михаил Иваныч встал и пошел в кабинет. Но только что он вышел, старый князь, беспокойно оглядываясь, бросил салфетку и пошел сам.

– Ничего не умеют, всё перепутают.

Пока он ходил, княжна Марья, Десаль, *m-lle Bourienne* и даже Николушка молча переглядывались. Старый князь вернулся поспешным шагом, сопровождаемый Михаилом Иванычем, с письмом и планом, которые он, никому не давая читать во время обеда, положил подле себя.

Перейдя в гостиную, он передал письмо княжне Марье и разложив перед собою план новой постройки, на который он устремил глаза, приказал ей читать вслух. Прочтя письмо, княжна Марья вопросительно взглянула на отца. Он смотрел на план, очевидно погруженный в свои мысли.

– Что вы об этом думаете, князь? – позволил себе Десаль обратиться с вопросом.

– Я? я?... – как бы неприятно пробуждаясь, сказал князь, не спуская глаз с плана постройки.

– Весьма может быть, что театр войны так приблизится к нам...

– Ха-ха-ха! Театр войны! – сказал князь. – Я говорил и говорю, что театр войны есть Польша, и дальше Немана никогда не проникнет неприятель.

Десаль с удивлением посмотрел на князя, говорившего о Немане, когда неприятель был уже у Днепра; но княжна Марья, забывшая географическое положение Немана, думала, что то, что ее отец говорит, правда.

– При ростепели снегов потонут в болотах Польши. Они только могут не видеть, – проговорил князь, видимо думая о кампании 1807-го года, бывшей, как ему казалось, так недавно. – Бенигсен должен был раньше вступить в Пруссию, дело приняло бы другой оборот...

– Но, князь, – робко сказал Десаль, – в письме говорится о Витебске...

<sup>61</sup> батюшка,

– А, в письме? Да... – недовольно проговорил князь. – Да... да... – Лицо его приняло вдруг мрачное выражение. Он помолчал. – Да, он пишет, французы разбиты, при какой это реке?

Десаль опустил глаза.

– Князь ничего про это не пишет, – тихо сказал он.

– А разве не пишет? Ну, я сам не выдумал же. – Все долго молчали.

– Да... да... Ну, Михайла Иваныч, – вдруг сказал он, приподняв голову и указывая на план постройки, – расскажи, как ты это хочешь переделать...

Михаил Иваныч подошел к плану, и князь, поговорив с ним о плане новой постройки, сердито взглянув на княжну Марью и Десалья, ушел к себе.

Княжна Марья видела смущенный и удивленный взгляд Десалья, устремленный на ее отца, заметила его молчание и была поражена тем, что ее отец забыл письмо сына на столе в гостиной; но она боялась не только говорить и расспрашивать Десалья о причине его смущения и молчания, но боялась и думать об этом.

Вечеру Михаил Иваныч, присланный от князя, пришел к княжне Марье за письмом князя Андрея, которое забыто было в гостиной. Княжна Марья подала письмо. Хотя ей это и неприятно было, она позволила себе спросить у Михаила Иваныча, что делает ее отец.

– Всё хлопочут, – с почтительно-насмешливою улыбкой, которая заставила побледнеть княжну Марью, сказал Михаил Иваныч. – Очень беспокоятся насчет нового корпуса. Читали немножко, а теперь – понизив голос, сказал Михаил Иваныч – у бюро, должно, завещанием занялись. (В последнее время одно из любимых занятий князя было занятие над бумагами, которые должны были остаться после его смерти, и которые он называл завещанием.)

– А Алпатыча посылают в Смоленск? – спросила княжна Марья.

– Какже-с, он уже давно ждет.

### III.

Когда Михаил Иваныч вернулся с письмом в кабинет, князь в очках, с абажуром на глазах и на свечах, сидел у открытого бюро, с бумагами в далеко отставленной руке и в несколько торжественной позе, читал свои бумаги (ремарки, как он называл), которые должны были быть доставлены государю после его смерти.

Когда Михаил Иваныч вошел, у него в глазах стояли слезы воспоминаний о том времени, когда он писал то, что читал теперь. Он взял из рук Михаила Иваныча письмо, положил в карман, уложил бумаги и позвал уже давно ожидавшегося Алпатыча.

На листочке бумаги у него было записано то, что нужно было в Смоленске, и он, ходя по комнате мимо ожидавшегося у двери Алпатыча, стал отдавать приказания.

– Первое, бумага почтовой, слышишь, восемь дестей, вот по образцу; золото-обрезной... образчик, чтобы непременно по нем было; лаку, сургучу – по записке Михаила Иваныча.

Он походил по комнате и заглянул в памятную записку.

– Потом губернатору лично письмо отдать о записи.

Потом были нужны задвижки к дверям новой постройки, непременно такого фасона, которые выдумал сам князь. Потом ящик переплетный надо было заказать для укладки завещания.

Отдача приказаний Алпатычу продолжалась более двух часов. Князь всё не отпускал его. Он сел, задумался и, закрыв глаза, задремал. Алпатыч пошевелился.

– Ну, ступай, ступай; ежели что нужно, я пришлю.

Алпатыч вышел. Князь подошел опять к бюро, заглянув в него, потрогал рукою свои бумаги, опять запер и сел к столу писать письмо губернатору.

Уже было поздно, когда он встал, запечатав письмо. Ему хотелось спать, но он знал, что не заснет, и что самые дурные мысли приходят ему в постели. Он кликнул Тихона и пошел с ним по комнатам, чтобы сказать ему, где стлать постель на нынешнюю ночь. Он ходил, примеривая каждый уголок.

Везде ему казалось не хорошо, но хуже всего был привычный диван в кабинете. Диван этот был страшен ему, вероятно по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем. Нигде не было хорошо, но всё-таки лучше всех был уголок в диванной за фортепиано: он никогда еще не спал тут.

Тихон принес с официантом постель и стал уставлять.

– Не так, не так! – закричал князь и сам подвинул на четверть подальше от угла, и потом опять поближе.

«Ну, наконец всё переделал, теперь отдохну», подумал князь и предоставил Тихону раздевать себя.

Досадливо морщась от усилий, которые нужно было делать, чтобы снять кафтан и панталоны, князь разделся, тяжело опустился на кровать и как будто задумался, презрительно глядя на свои желтые иссохшие ноги. Он не задумался, а он медлил пред предстоявшим ему трудом поднять эти ноги и передвинуться на кровати. «Ох, как тяжело! Ох, хоть бы поскорее кончились эти труды, и *вы* бы отпустили меня!» думал он. Он сделал, поджав губы, в двадцати-тысячный раз это усилие и лег. Но едва он лег, как вдруг вся постель равномерно заходила под ним вперед и назад, как будто тяжело дыша и толкаясь. Это бывало с ним почти каждую ночь. Он открыл закрывшиеся было глаза.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.